

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
ПОЭЗИЯ, ПРОЗА, ПУБЛИЦИСТИКА

КАЮЛА 

Борис ХАЗАНОВ

ШАГИ СЛЕПОГО В ТЕМНОТЕ,
ИЛИ
ПОЗОР ПОРАБОЩЁННОЙ МЫСЛИ

Сюита-фантазия для чтения вслух

КАЯЛА
Киев, 2018

УДК 821.161.1(477)'06-312.6
X15

Б. Хазанов

X15 Шаги слепого в темноте или Позор порабощённой мысли. — Киев: Каяла, 2018 — 154 с. — (Серия «Современная литература: поэзия, проза, публицистика»).

ISBN 978–617–7390–63–2

Чтобы пояснить замысел новой книги одного из старейших представителей современного русского литературного Зарубежья, позволим себе сослаться на два отправных пункта или источника, далёких друг от друга. Это вопрос ученицы, заданный педагогам сельской школы и о котором говорится на первых страницах «сюиты-фантазии», а также некогда нашумевшая, вышедшая ещё до Второй мировой войны книга Хосе Ортеги-и-Гасета «Восстание масс», оказавшаяся пророческой. Одиночество индивидуума, затерянного в перенаселённых каменных джунглях новейшего массового общества, как и то, что стало кардинальным заданием художественной словесности, — пристальное внимание к уникальному внутреннему миру личности, *восстание личности*. Так понимает смысл своей работы сочинитель.

УДК 821.161.1(477)'06-312.6

© Б. Хазанов, 2018

© Издательство «Каяла» (Киев.), 2018

*Светлой памяти
Самуила Ароновича Лурье*

ТРИ ВРЕМЕНИ

Измучен жизнью, коварством надежды,
Когда им в битве душой уступаю,
И днем и ночью смежаю я вежды
И как-то странно порой прозреваю.

Еще темнее мрак жизни вседневной,
Как после яркой осенней зарницы,
И только в небе, как зов задушевный,
Сверкают звезд золотые ресницы.

И так прозрачна огней бесконечность,
И так доступна вся бездна эфира,
Что прямо смотрю я из времени в вечность
И пламя твое узнаю, солнце мира.

И неподвижно на огненных розах
Живой алтарь мироздания курится,
В его дыму, как в творческих грезах,
Вся сила дрожит и вся вечность снится.

И всё, что мчится по безднам эфира,
И каждый луч, плотской и бесплотный, -
Твой только отблеск, о солнце мира,
И только сон, только сон мимолетный.

И этих грез в мировом дуновении
Как дым несусь я и таю неволью,
И в этом прозрении, и в этом забвении
Легко мне жить и дышать мне не больно.

А. Фет

1 . Вступление. Вместо пролога

Вот я ложусь, время десять или одиннадцать,
укладываюсь, устраиваюсь, разворачиваю книгу, в
мозгу у меня, не успел я приняться за чтение, звучит

музыка, таинственное ленто, задумчивое анданте, пробуждаются строки любимых, с полудетских лет затверженных стихов, ... И опять всё та же, настырная антиномия жизнецувствия, тот же выбор; либо моё существование представляет собою цепь отчаянных усилий чего-то добиться, либо вся моя жизнь предстаёт как карусель, неудач, метание слепого в темноте. И незаметно я засыпаю.

Я вижу сны. Встречаю людей давно и бесследно исчезнувших, вижу места и времена, о которых никогда не думал, никогда их не вспоминал, — оказывается, я ничего не забыл, некогда пережитое, изжитое восстало из низин разбуженной памяти.

Но сон — не фантазёр, а фантаст, сон — это сочинитель, который умеет быть и романтиком, и реалистом, и эта странная, узурпирующая права рассудка самодеятельность мозга по праву может быть названа литературной. Сновидец подражает писателю-модернисту, подобно тому как серьёзная литература заимствует свои приёмы и темы у сновидений.

Борхес (лекция «Кошмар») пересказывает сон своего приятеля, которому привиделось, что он встретился со старым знакомым: человек стоял, одетый во всё новое, заложив руку за борт пиджака на груди. Ты сильно изменился, сказал ему сновидец. Да, я изменился, ответил тот и вытащил руку из одежды. Но вместо руки высунулась птичья лапа.

2. Вопрос

В старинном русско-татарском селе Красный Бор на Каме, году примерно в 42-м, в разгар войны, в четвёртом или пятом классе средней школы был устроен вечер вопросов и ответов. У меня было немало важных вопросов, я задал самый интересный, существует ли электрическая связь между планетами. Другой вопрос задала одна девочка. Она спросила: почему в книжках всегда говорится про любовь? Последовали компетентные ответы учителей. Физик Василий Егорович, эвакуированный из осаждённого Ленинграда, пожилой человек, обыкновенно дремавший на своих уроках, чем бесстыдно злоупотребляли ученики, отпрашиваясь то и дело из класса, пробормотал что-то маловразумительное. Второй ответ был обстоятельней. Во-первых, не всегда, уточнила учительница биологии, она же классный руководитель, и долго говорила о любви и дружбе, о том, что второе важнее первого. Но в чём, собственно, заключается любовь и отчего некоторые писатели уделяют ей так много внимания, не объяснила. Спустя годы я думаю, что ученица разобралась в этой проблеме, быть может, не хуже учителей. Разбираюсь ли я в ней?

3. Цель и оправдание литературы

Теперь я тоже пишу книги — в том числе и «об этом». Но не только. Было время, когда меня обуревали другие темы: доносы, аресты, тюрьмы и лагерь, глухая секретность происходящего в стране. О чём же ином, думал я, стоит писать. Только у нас писатель имеет дело с материалом столь жгучим и актуальным, вдобавок таким, какого никто не смеет коснуться. Открыть глаза людям, разоблачить преступный государственный строй, вот неотложная задача и достойное решение. А о чём писать романистам, живущим в благополучных странах? Копаться в подробностях семейной жизни, только и всего. Для меня было совершенно ясно, что, живя в этой стране, я никогда не сумею вписаться в процеженную многоэтажной цензурой официальную литературу, и обречён писать в стол. Следствием были глухая тайна и неизвестность — так появились на свет мои домотканые лагерные, сугубо крамольные повести.

4. Озарение

Обстоятельства изменились: каннибал умер. Довольно скоро, впрочем, стало ясно, что и в новых, подмалёванных декорациях пьеса не переменилась. Гидра государственной безопасности не была раздавлена. Человекоядное советское государство, каким было, таким и осталось.

Всё это называлось перестройкой. Между тем амбиции мои некоторым образом обновились. Окончив медицинскую аспирантуру, я, со своим бесполезным кандидатским дипломом и пресловутым пятым пунктом, тщетно обивал пороги научных институтов в поисках работы, — а сам втихомолку трудился над первым своим романом с евангельским заголовком «Я Воскресение и Жизнь», о ребёнке без матери, у которого папа женится на чужой женщине. Как-то раз, возвращаясь, после очередной попытки устроиться не солоно хлебавши, я неожиданно для себя мысленно увидел сцену будущего романа. Мальчик встаёт ночью, разбуженный звуками в спальне взрослых, и видит нечто ужасное: в кровати под одеялом мачеха давит и душит отца, а он, беспомощный, лежит под ней без чувств. И с громким плачем ребёнок бежит прочь. Женщина в длинной ночной рубашке утешает его, прижимая к груди, говорит, что это так нужно, потому что от этого у мальчика будет сестричка, что и сам он появился на свет по той же причине, потому что это — любовь. Раздумывая об этом, ненароком найденным эпизодом будущего произведения, я почувствовал, что кое-что во мне, в моём отношении к литературной работе, в самом деле изменилось.

5. Подросток

Тут, возможно, не обошлось без «влияния». Произвёл впечатление «Подросток былых времён» Франсуа Мориака, одного из тех западных романистов, кто, как было сказано выше, «копается в подробностях семейной жизни».

Там есть такое место. Подросток, он же повествователь, увидел выходящую из пруда девочку, она садится на берегу, чтобы обсохнуть на солнышке, стягивает с себя бретельки купальника, обнажает худенькие плечи и едва наметившуюся грудь. Поднявшись, продолжает рассказчик, девочка долго стояла под лучами солнца, «и так далеки были от меня нечистые мысли, что, глядя на неё, я ощутил со всей несомненностью, что Бог есть... Мне показалось, будто кто-то убрал ладони, закрывавшие мои незрячие глаза, и я вдруг прозрел. Уже одно это создание было чудом, а в мире таких миллионы — в том мире, которого я не знал, где одни только книги и нет ни одного человека...»

6. Искусство принадлежит народу

Я нашёл топор под лавкой. Не то чтобы разуверился в своей одержимости гражданственно-разоблачительной мелодикой, и остыл, — вовсе нет. Выношенное и написанное доселе по-прежнему казалось необходимым. Но для меня стал очевидным тот бесспорный факт, что королевский домен лите-

ратуры — отнюдь не Родина с большой или маленькой буквы, а Личность, подлинная, неповторимо интимная, тайная и таинственная жизнь человека. Любовь, взаимоотношения полов, Прячущаяся от посторонних — но не от художника! — семейная жизнь. Не зря Толстой говорил, что альков навсегда останется вечным сюжетом литературы. Не зря ученица задала свой вопрос. Наконец, раскройте вы Библию, Ветхий Завет, этот грандиозный семейный роман, буквально дышащий плотской страстью, этот пронизанный мотивами продолжения рода манифест сперматической природы иудаизма (выражение Эрнста Юнгера (см. его парижские дневники).

В книге Софер Йецира, монументальном своде догадок, прозрений и грёз еврейского Средневековья, возвещается, что Всевышний создал сфирот — божественные искры, или семена мироздания, из которых возрастает, и ветвится, и восходит к небесам мировое Древо Жизни.

7 Божественное семяизвержение

Диковинно-непристойная каббалистическая легенда (источник которой, если не ошибаюсь, — Зоар, иначе Книга Сияния) приписывает происхождение человеческого рода незавершённому акту любовного соития. Когда Иосиф Прекрасный, уступив домогательствам влюблённой в него жены Потифара,

приблизился к её ложу и коснулся обнажённого женского тела, возделение, охватившее юношу, было так велико, что он не мог справиться с собой. Капли семени, излившись, превратились в божественные сфирот.

8. Две половины

Вернёмся на семь веков ниже. Платон (Симпосион, или «Пир») рассказывает устами жрицы Диотимы миф о двух половинах, и, расцепивших тело первочеловека, мужской и женской. Обе ищут воссоединиться со своей противоположностью в служении могущественному божеству — Эроту.

9. Мифологическое, мимолетное

Древо Жизни, двуснастный эллинский Андрогин, иудейский каббалистический первочеловек Адам Кадмон. Надмирное брачное Ложе Василия Розанова, алтарь мироздания и Солнце мира Афанасия Фета. Дева Радужных Ворот В. Соловьёва. Суламифь и Шир-га-Ширим (Песнь песней). Вечное женское «Да» Мэрион Блум Дж. Джойса...

А где же пресловутая гражданственность? Не пытаемся ли мы вернуться к стародавнему русскому литературно-критическому спору о чистом искусстве, знаменитом фетовском «Шепот, робкое дыханье,

трели соловья» и лиссабонском землетрясении? (Ср. статью Достоевского Зимние заметки о летних впечатлениях...»). Победил Фет.

10. Искусство на службе у власти

Между тем сочинитель по-прежнему, как ни в чём не бывало, обретался в государстве, где презрение к личности и попрание человеческого достоинства — традиция, укоренённая и в практике власти, и в народном самосознании и быту. Так не следует ли считать решение писателя сосредоточиться на внутренней жизни своих персонажей — всё той же протестной акцией, восстанием искусства против партийного контроля, деспотизма и рабства?

11. Видение. Из конфискованного при домашнем обыске

С трудом переставляя могучие когтистые лапы, влача за собой чешуйчатый гребневидный хвост, грозно и величественно приближаясь из тьмы, шестует исполинский ископаемый ящер.

Вот оно, это доисторическое чудище. Так воссоздает его воображение сочинителя-сновидца. Таков образ родины... Нужны ли оправдания, извинения, объяснения?

Вопрос задаёт себе и автор; попытаемся ответить. Речь идёт о воспоминаниях: на исходе жизни бессонная память одолевает как никогда, тени, призраки настигают во сне и наяву, — словом, живёшь в прошлом. Неуправляемый поток воспоминаний, порой самых неожиданных, требует волевого вмешательства: этот хаос нужно упорядочить. Безостановочную череду десятилетий, тьму времён просветляет, выуживает смысл из бессмыслицы — литература.

12. Прожорливое будущее

Память подсказывает мне максимуму Т.С. Элиота «Четыре квартета, 1»:

Time present and time past are both present in time future.

«Время настоящее и время прошедшее — оба содержатся во времени будущем».

Простая мысль осеняет, когда всматриваешься в эту строку. Прошлое есть не что иное, как бывшее настоящее. Бывшее, потому что его поглотило будущее. Жестокая правда! Вспоминая собственное, не толстовское, детство, отрочество, юность, решающие, быть может, годы жизни, когда всё было впереди, будущее стучалось в дверь, как посыльный с букетом из цветочного магазина, когда восторженно-безответная любовь, поглощала всё твоё сущест-

во, — думаешь о хищном будущем, жертвой которого ты стал. Но об этом позже, позже.

13. Красный Бор. Три времени

Tes cheveux, tes mains, ton sourire
rappèlent de loin quelqu'un que j'adore.
Qui donc? Toi-même.

М. Юрсенар. Feux

Твои волосы, твои руки, твоя улыбка
напоминают мне издалика кого-то,
кто мне дорог. Кого же? Тебя.

М. Юрсенар. Огни

С тех пор как живой огонь смоляных факелов, масляных плошек, свечей, керосиновых ламп больше не озаряет человеческое жильё, уступив место беспламенному освещению, мир стал другим, вещи смотрят на нас иначе, и бумага ждёт других слов. Но нет, это всё те же слова.

В области технологии попятное движение возможно так же, как и на лестнице живых существ. Приспособление, которое стоит на столе — и требует особого описания, пока о нём окончательно не забыли, — представляло собой с инженерной точки зрения регрессивную ступень, зато имело важное преимущество перед своим предком, а именно, экономило дефицитный керосин. Уничижительное на-

звание «коптилка», возможно, указывало на недостатки с точки зрения экологии и защиты окружающей среды, но экология была изобретением позднейшего времени.

Проще говоря, это была всё та же керосиновая лампа, с которой сняли стекло и отвинтили железный колпачок с узорным бордюром. После чего можно было прикрутить фитиль до чахлого огонька, повторённого в тёмном окне, где виднелось призрачное лицо пишущего. За вычетом некоторых частностей, — к ним следует отнести прошедшие годы, — это тот же персонаж, который по сей день предаётся тому же занятию, описывает комнату, архаический осветительный прибор и склонённого над тетрадкой недоросля. Пишущий описывает пишущего. С пером в руке, словно зачарованный собственной решимостью, он застыл, вперив в огонь сужившиеся зрачки; в этот момент его застаёт наше повествование.

Жёлтый огонёк в запотевшем оконном стекле прыщет искрами, перо, забывшись, ворошит маслянистые чёрные останки, труп таракана в чашечке горелки. Двойной тетрадный листок, лежащий перед подростком, исписан до конца. Остаётся перечсть, он медлит, как Татьяна над письмом Онегину.

Остаётся сложить и сунуть в конверт. Но в те годы почтовые конверты вышли из употребления, письма сворачивали треугольником. Он, однако, сам

склеил конверт. И чем дольше он вперяется в огонь, чистит перо о край чашечки и вновь пытается подцепить обугленный остов насекомого, тем сильнее зудит и поёт в его душе восторг небывалого приключения. Чувство, которое испытывает человек перед тем, как сигануть с вышки в воду. Он встаёт. Ему представились сумрачные леса, отливающий оловом санный путь.

Грёзы памяти прочнее зыбкой действительности. Случись нам однажды посетить места далёкого прошлого, мы увидели бы, что с действительностью произошло что-то ужасное. Всё изменилось, разве только лес и река под пологом туч остались как прежде; и мы с трудом узнали бы этот жалкий сколок с немеркнувшего воспоминания; пытаюсь подселить новые впечатления к тому, что живёт в памяти, мы совершили бы насилие над собой, надругательство над памятью, которая попросту не верит в обветшалую действительность и не желает её признавать: так богатое процветающее государство не хочет впускать к себе оборванцев.

14. Он выходит

Мальчик стоит посреди комнаты, в коротком пальто, из которого он вырос, шапка-ушанка в руке, взъерошенный вид; перед тем, как дунуть на огонёк, он видит в окошке своё лицо, освещённое снизу, как

у преступника. Он выходит из дому, вернее, сейчас он выйдет. Та же дорога, что и тогда. Но тогда, две недели назад, был солнечный день, снег скрипел под ногами. Тогда... о, сколько лет этот день ещё будет стоять перед глазами. С него, похоже, всё началось. Она шагала в полушубке, в платке, из-под которого выбились её пряди, в юбке чуть ниже колен и маленьких чёрных валенках, глядя под ноги, держа правую руку в варежке перед грудью, левой помахивая в такт шагам, от бедра в сторону. Все эти мелочи... прежде он не обратил бы на них внимания. Когда он догнал её при выходе из больничных ворот, она сказала: «А я даже не знаю, в каком вы классе». Вместе прошли весь путь, два или три километра от больницы до районного центра, о чём говорили, забылось, остался звук её голоса, морозный румянец, ослепительный день; и то, как она шла — легко и уверенно ставя ноги в валенках по утоптанному скрипящему снегу, в юбке немного ниже колен и хлопчатобумажных чулках, какие в то время носили все женщины; шла, внимательно глядя под ноги, чтобы не поскользнуться, рука в шерстяной варежке перед грудью, другой помахивая от бедра, что придавало ей забавный деловой вид. Оба должны были идти по сторонам скользкой дороги, отступали в снег, чтобы пропустить встречную подводу, снова шли по обочинам, сходились, шагали рядом.

В этот день что-то случилось; но когда же началась эта история? Всегда одна и та же, сколько о ней ни вспоминать, ибо она держится на нескольких более или менее прочных фактах, словно палатка на колышках под порывами ветра, — и всегда другая, оттого что «факты» разбухают подробностями, ветвятся, соединяются и даже меняют свою последовательность. Образ девушки, неколебимый, как фатаморгана, стоит над всеми событиями. Ибо, как уже сказано, ничего в памяти не меняется, ни лес, ни дорога, по которой она шагала, откидывая руку в сторону, глядя под ноги, чтобы не поскользнуться, а может быть, для того, чтобы не смотреть на спутника. Всё как прежде, и если бы через много лет по неслыханному стечению обстоятельств мы увидели её снова, если бы нам сказали: вон та сморщенная старуха, это и есть она, — возмущённая память отшвырнула бы её прочь.

В который раз воображая всё сызнова, — для чего не требуется усилий, достаточно вспомнить одну какую-нибудь сцену, одну подробность, огонёк на столе, перо, называемое «селёдочкой», с загнутым кончиком, и тотчас придёт в движение весь механизм, — в который раз, снова и снова воображая или, лучше сказать, возрождая эту историю, наталкиваешься на трудность особого рода, грамматическую проблему. Всё просто, пока вы пишете о других. И насколько сложнее найти в хороводе лиц и

событий подходящую роль для себя, подобрать подходящее местоимение. Странная коллизия, которая показывает, как трудно уживаются память и язык, память и повествование. Оба лица глагола несостоятельны — и первое, и третье. Пишущий говорит о себе: «он», «его отражение в запотелом стекле», представляя себе того, кем уже не является. Он пишет о другом. Но другой, тот, кого давным-давно не существует, был как-никак он сам, был «я». Он тот же самый, он другой. И он чувствует, что местоимение первого лица расставляет ему ловушку, тайком впускает через заднее крыльцо в заколоченный дом памяти того, кому входить не положено. Говоря «я», невозможно отделить себя от того, прежнего, — вернее, отделить прежнего от себя нынешнего.

Литература приходит на помощь, находит выход, пусть конформистский, рабский, в цепях грамматики, которые она сотрясает, приучая читателя к зыбкости глагольных форм, условности местоимений, а значит, и к зыбкости точек зрения; литература говорит: не доверяй «ему», на самом деле это я, скрывшийся под личиной повествователя; но не полагайся и на «меня», ибо это не я, а некто бывший мною; не верь вымыслу, единственный вымысел этой повести — то, что она притворяется выдумкой; но и не обольщайся мнимой исповедальностью, на самом деле «я», как и «он», — не более чем соглядатай.

К этому времени — четырнадцать, пятнадцать, надо ли уточнять? — окончательно утвердилось, кем он будет или, вернее, кем он стал. Чем фантастичней были его представления об этой профессии, тем прочней была эта уверенность. Предвкушение этой судьбы давно давало себя знать — в ту баснословную старину, обозначаемую словами «до войны» и от которой подростка отделяло расстояние такое же, как от юноши до дремучего старца. Идея, прочитав что-нибудь, сочинить нечто подобное и даже ещё лучше, — когда она появилась? Он прятал тетрадки с рассказами и стихами, рисовал на узких бумажных рулонах приключенческие фильмы и писал пояснительные титры, как было принято в настоящем кино. Это случилось в Париже, в один из тёплых летних вечеров 193... года. Его литературные амбиции распространялись на все роды словесности, он писал романы, поэмы, критические статьи, учёные трактаты; мало что доводилось до конца, большей частью ограничивалось вступительной главой или прологом; новый замысел оттеснял предыдущие. Всё стало литературой. Было ли ею и это письмо? Любовь и словесность вступили в заговор. Вот оно, уже заклеенное, которое автор вертит в руках. В десятый раз перечитывает адрес. Мальчик стоит посреди комнаты, тень в огромных валенках, в пальто, из которого он вырос, дважды переломилась от пола до потолка, и чьё-то лицо, освещённое снизу, под-

глядывает в окне. Он сунул конверт за пазуху, нахлобучил ушанку, слабая керосиновая вонь от потухшего светильника повеяла ему вслед. Влажный ветер ударил в лицо. Была оттепель.

Под тёмным небом в оловянной ночи он брёл краем дороги, чтобы не промочить валенки, неся в кармане письмо с адресом, который не отличался от его собственного, — ведь она жила в том же доме-бараке, второе крыльцо, — письмо, содержащее нечто такое, что никогда и ни под каким видом не может быть произнесено вслух. Как если бы он прошептал ей на ухо секретный пароль, оставаясь невидимым, *parlant sans parler*, как выражается персонаж одного романа, где объяснение происходит во время карнавала, в полубреду, *sans responsabilité, ou comme nous parlons en rêve*. Разумеется, подросток никогда не слышал об этой книге. Но в конце концов все наши поступки уже описаны кем-то. В это время та, для которой предназначалось оглушительное известие, дремала в коридоре инфекционного отделения, называемого заразным бараком, на топчане рядом со столиком для дежурной сестры, накрыв ноги казённым одеялом, ни о чём не подозревая.

15. Афродита Книдская

Но когда всё-таки это началось? С чего началось? Был летний день, один из первых горячих

дней, народ собрался на пологой лужайке, вероятно, это были дети больничной обслуги, две-три женщины в светлых платьях сидели на траве, не решаясь раздеться, и вода сверкала так, что было больно смотреть. И кто-то уже сходил босиком, придерживая подол, к узкой песчаной полоске, а вдали, на тёмно-сверкающем просторе, вдоль кромки противоположного берега, длинная чёрная баржа тянулась следом за пароходиком, над которым курился дымок; кто-то, приставив ко лбу ладонь, старался прочесть название в полукруте над пароходным колесом. Не оттого ли мы склонны приписывать особенное значение ничего не значащему, мимолётному эпизоду, что смотрим на него из будущего? Зная о том, что было позже, мы говорим себе: вот решающее мгновение, вот когда сделана первая инъекция эротического наркотика, — а ведь, может статься, на самом деле ничего такого и не было.

Несколько минут спустя докатившаяся волна плеснула на прибрежный песок, забрызгав подол платья; и ватага с визгом, с уханьем бросилась вперёд, в блеск реки и бледную голубизну неба. Посреди этого детского лягушатника, белея круглыми плечами, в воде до начала груди стояла чужая и незнакомая, неизвестно даже, как её звали, с ещё не отросшими волосами. Кого же она напоминала теперь, в воспоминаниях? Конечно, ту, которой стала позже.

Или, может быть, не тогда, на реке, когда она стояла, щурясь от солнца, среди кувыркающихся мальчишек, ещё слабая, круглоголовая, сама похожая на болезненного крупного мальчика, стесняясь выйти и не решаясь пуститься вплавь, — а ещё раньше зародилась эта история, в день, когда в комнате за перегородкой, где потом поселилась с матерью Маруся Гизатуллина, в просвете занавески, заменяющей дверь, лежала на подушке её наголо остриженная голова?

Разве (думал он) вспомнилась бы ему занавеска, бледное лицо с закрытыми глазами, не будь всего, что случилось позже? Слишком часто оказывается, что память — не летописец, а беллетрист; память вкладывает в события профетический смысл и придаёт им литературную завершённость, превращает незначащие впечатления в события, возвышает случай в ранг судьбы.

В эти дни, после разгрома под Харьковом, армия панически отступала. Повторился кошмар молниеносной войны. Враг нёсся по степным просторам к Дону, после чего, согласно безумному замыслу фюрера, войска, наступавшие в южном направлении, прорвались к Кавказу. Горные егеря вскарабкались на Эльбрус и всадили в каменную расщелину красное знамя с белым диском и свастикой. Другое полчище устремилось к излучине Волги. Когда завоеватели увидели бесконечную, залитую солнцем

водную гладь, они были поражены. Ничего подобного они не видели у себя на родине. Город на реке был окружён с трёх сторон. В Виннице, в новой штаб-квартире, фюрер изнывал от украинской жары. Город на Волге нужно было взять во что бы то ни стало. Вождь в Москве, никогда не выезжавший на фронт, издал приказ: ни шагу назад. Город удержать во что бы то ни стало. Эвакуация гражданского населения запрещена. Армия Чуйкова схватилась с завоевателем. Две трети развалин с их обитателями были уже в руках врага. В подвале универмага на площади Героев революции, перед телефонными аппаратами и картой города, сидел, с дубовыми листьями на воротнике и Рыцарским крестом на шее, главнокомандующий. Город на Волге утратил стратегическое значение, но его надо было взять. Река, вся в пламени, стояла перед глазами и оказалась недостижимой. Город удалось отстоять, но его уже не существовало. Это была война, в которой победа была в конечном счёте такой же катастрофой, как и поражение, когда героизм, страх, самоотверженность и звериная жестокость обесценили все остальные чувства и перечеркнули культуру. Война разрушила всё и всех, разрушила европейское человечество, но об этом никто не думал; выпотрошила души людей, но они этого не заметили. Эти годы уже никто не помнит.

Мальчик слушал военные сводки, из которых можно было узнать, что одна победа следовала за

другой; и когда армия оставила Украину, была отеснена к Кавказу и отступила к Волге, то, хотя об этом и можно было догадываться, даже привыкнуть, как раненый привыкает к тому, что лишился обеих ног, получалось, что армия только и делала, что одерживала одну решительную победу за другой; так, непрерывно побеждая, она оказалась прижатой, как к стене, к берегу Волги; но тут кое-что в самом деле переменялось.

В ста пятьдесят километров от города части, незаметно подтянутые с фланга, применили тактику, заимствованную у врага. Артиллерия ударила всей мощью на узком участке. В прорыв устремились танковые подразделения и пехота. Навстречу, с юго-востока, двигались войска, чтобы сомкнуться с ними. Фланги охраняли румынские части, чей боевой дух уступал немецкому. Над половецкой степью пошёл снег. В темноте танки подошли к станции Калач и включили фары перед мостом через Дон. На пятый день завершилось окружение. Фюрер запретил попытки прорвать кольцо, что означало бы отступление; оставалось погибать под бомбами, в летних шинелях, от мороза и нехватки продовольствия. Красная Армия потеряла два миллиона солдат. От 250-тысячной армии генерал-фельдмаршала Паулюса осталось 90 тысяч, после войны из плена вернулось шесть тысяч. Некая Лизль из Аахена послала слёзное письмо девятнадцатилетнему грена-

дёру Рольфу Бергеру, зачем он сделал её такой несчастной, она не вынесет позора: все смотрят на её раздувшийся живот. Мать написала сыну, что она знает о том, что он сидит в котле под «Шталлиградом», письмо было написано при свечах в подвале разбомблённого дома. Оно успело вернуться, как и письмо Лизль, со штампом «Пал за Великогерманию». Сотни мешков с письмами были сброшены с самолётов в расположение окружённых войск, и снег засыпал их. И снова...

Снова эта дорога, мглистое пространство сна, армада туч, тёмных на тёмном. По правую руку берег, невидимый, не отличимый от запорошенной снегом реки, по левую руку холмы, замороженные леса и где-то там между деревьями лыжный след на крутизне, сейчас не различишь. Пристыжённый рекордом неизвестного смельчака, мальчик решил было тоже съехать с обрыва, стоял там, наверху, щурясь от солнца, между елями, сделал робкий шаг, подтянул другую ногу, лыжи висели над пропастью, в следующее мгновение он уже летел вниз в свисте и громе ветра, почувствовал слабость в ногах и несколько раз перекатился через голову, раскинув ноги с лыжами, растеряв палки, в фонтанах снега. К счастью, никто не видел его позора. Мальчик спешит по ночной дороге, стало жарко от быстрой ходьбы, он стащил с головы шапку, вытер шапкой потный лоб, расстегнул пальто, он шагает, марши-

рует налегке в облаке пара, письмо в кармане, голова мёрзнет, он нахлобучивает холодную влажную шапку. Отступают, уходят во тьму леса и овраги, всё ближе редкие огоньки, подросток бредёт по безлюдной улице, ещё шагов полтора, ещё каких-нибудь десять домов до каменного двухэтажного дома с вывеской почты.

Сунув в щель самодельный конверт, он медлит, мгновение, и он скользнёт, как тогда, с обрыва, в громе ветра. Разжать пальцы, только и всего. Письмо упало в ящик. Мальчик представил себе, как утром по пути в школу он ещё успеет перехватить почтальонку, как её здесь называли, представил, как она роется в сумке, я передумал, скажет он и сунет письмо в карман. На другой день, подходя к школе, он думает о том, как она бредёт в тёплом платке, в куцавейке и старушечьей юбке, с сумкой через плечо, мимо лесистых холмов, мимо взрыхлённой крутизны в просвете елей — след его падения, уже запорошённый снежком. И вот уже видны дымки из труб, больничный посёлок. Старая женщина свернула с тракта. Сейчас, думает он, избегая на второй этаж деревянного здания школы, сейчас она вошла в ворота. Сейчас... среди беготни и гама, словно сомнамбула, никого не видя, не слыша звонка, он пробирается в класс, опускается на своё место, вскакивает вместе со всеми при появлении учительницы, — сейчас она шагает мимо конюшни.

Направо за воротами жёлтая от навоза и конской мочи площадка, сарай для телег, саней и кибитки главного врача. Налево заваленный снегом огород, брёвна, сваленные Бог знает когда, штабеля дров. Барак для персонала. Вестник в юбке и куцавейке поравнялся с крыльцом, где жили подросток и его мать, где в комнате за перегородкой, с занавеской вместо двери проживала и Нюра в те далёкие времена, когда она выздоравливала от брюшного тифа, а потом поселилась Маруся Гизатуллина, она-то всегда ждала писем, и мать подростка ждала писем, но почтальонка прошла мимо и остановилась перед следующей секцией. Кто-то выглянул, поговорили о чём-то; тётя Настя рылась в сумке; женщина, с самодельным конвертом в руке, ворочилась на кухню и, держась рукой за поясницу, наклонилась подсунуть письмо под дверь соседки, всё это он представил себе, как будто стоял рядом, но что если письмо затерялось? Старая тётя Настя плелась дальше к проходу в плетне, отделявшем жилую зону от больничных корпусов, мимо дома завхоза, мимо бани на пригорке, избушки из толстых брёвен, с единственным слепым оконцем. И тотчас, ни того ни с сего, эпизод, принадлежащий совсем уже архаической эпохе, воскрес в его памяти.

Не считая главврача, завхоза, да ещё полусумасшедшего конюха Марсули, каким-то образом прибывшегося к больнице, он был единственным пред-

ставителем мужской половины человечества в этом маленьком мире; мелкая ребятня, дети полузамужних сестёр и санитарок, разумеется, тоже не в счёт. Главный врач, человек с негнущейся ногой, вместе с падчерицей эвакуировался с Украины, где заведовал чем-то, и здесь стал важным лицом в районе, председателем врачебной комиссии, мог всегда положить к себе двух-трёх призывников с сомнительными болезнями, говорили даже, вовсе здоровых. Главврач с падчерицей мылись первыми; за ними, следующим по рангу, шагал в баню завхоз Махмутов, пожилой мужик с картофельным лицом, жена в тёплом платке, закутанная до глаз, несла следом тазы для ног, для головы; а далее женщины, их было много, так что мальчик должен был мыться последним, когда горячей воды оставалось на доньшке. На худой конец можно было идти вдвоём с матерью, но мать была не настолько важной персоной, чтобы одной с мальчиком занять баню, а главное, время шло очень быстро; время казалось нескончаемым, как товарный поезд, — один месяц этого грузного времени был равен многим годам жизни взрослого человека, одной недели хватило бы на целую книгу, — и, однако, мчалось вперёд, словно экспресс, просто он этого не замечал, как пассажир, дремлющий в купе, не замечает расстояний. Из ребёнка, каким его привезли в начале войны, он словно за одну ночь превратился в подростка. И уже неудобно было

брать его в баню вместе с собой. И оттого, что время так неслось, этот эпизод отступил в незапамятные времена; придавать ему тайное значение — какогого он, без сомнения, был лишён — могла только поздняя память, наделённая, как уже было сказано, свойством беллетризовать хаос жизни, манипулировать прошлым, и позапрошлым, и будущим, которое, в свою очередь, стало прошлым. Этот случай погрузился в легендарные времена. В те времена, когда Нюра ещё жила через стенку от них и никакого волнения это обстоятельство не вызывало, женщины не обращали на него внимания, а он был слишком занят, чтобы удостоить вниманием их, рисовал карты несуществующих государств, из которых одно напало на другое, линию фронта, стрелы наступающих армий и кружки осаждённых городов, писал статьи для задуманной астрономической энциклопедии, вечерами, глядя на небо, убеждал себя, что открыл новую комету, хотя три звезды, которых он не различал из-за близорукости, по всей вероятности, были Стожары. Потом астрономия как-то забылась, рисовать стратегические карты надоело, литературные замыслы оттеснили все другие увлечения; словом, всё это было ещё до того, как Нюра лежала в бреду и за ней ухаживала строгая чернобровая Маруся Мухаметдинова, до того, как Нюра стояла на крыльце, бледная и остриженная, босиком, в чём-то белом, вероятно, в ночной рубашке,

смежив глаза под весенним солнышком, до того, как её плечи белели в воде посреди барахтающейся детворы, и до того, как в комнатке за стеной поселилась Маруся Гизатуллина с матерью, а Нюра перебралась в соседнюю секцию. В эпоху до нашей эры, вот когда это было — и представлялось далёким островком в океане времени, и лишь много лет спустя стало казаться, что с этого эпизода всё и началось, что островок был не чем иным, как вершиной опустившегося на дно континента.

Женщин было слишком много. Все мылись ужасно долго. Поздно вечером мальчик всё ещё сидел в холодных сенях с заиндевелым окошком, дожидаясь своей последней очереди, дверь из предбанника приоткрылась, и высунулось красное и блестящее, окружённое космами мокрых волос лицо Нюры, пахнуло влажным, гниловатым теплом, затхлостью сырого дерева, хозяйственным мылом и ещё чем-то свежим, блестящим, это был запах женского тела; от неожиданности он открыл рот, она замахала руками, ей было холодно, захлопнула за собой дверь. Когда он переступил порог предбанника, там никого не было. В полутьме на крюках висели пальто, платки, стояли валенки, на лавках валялось бельё. Он стащил с себя пальто и ушанку, поколебавшись, снял всё остальное, толкнулся в забухшую дверь, толкнулся ещё раз изо всей силы и ввалился в жаркий, жёлтый, тускло-блестящий ту-

ман, где, слава Богу, было плохо видно, тела двух женщин белели в тумане. В углу на полке справа от двери, в светящемся облаке, стояла в стеклянной банке керосиновая лампа. Гулкий голос окликнул его. Мальчик всё ещё не понимал, зачем его позвали, стеснялся своей наготы, но увидел, что, занятые своим делом, они не обращают на него внимания, и сам старался не смотреть на их блестящие покатые плечи, крутые бёдра, несоразмерные с верхней половиной тела, большие круглые груди с розоватыми плоскими сосками у Нюры и маленькие, сужающиеся, татарские груди Маруси Гизатуллиной. Вдвоём с Нюрой держали за руки худенькую Марусю, которая, как он помнил, носила имя Марьям, была рукодельницей, целыми часами пела за перегородкой «Тёмную ночь», и «Про тебя мне шептали кусты», и «С неба звёздочка упала» и что там ещё, и сейчас казалась совсем маленькой, на голову ниже мальчика, и не сводила зачарованных глаз с бочки. «Ну, давай, шагай», — приговаривала Нюра. Маруся, застыв от ужаса, не двигалась с места.

«Давай...»

Маруся Гизатуллина поставила ногу на табуретку и, поддерживаемая с двух сторон, встала на табуретку перед бочкой, задев мальчика круглым влажным бедром. Внутри, в бочке стояла другая табуретка. Маруся попробовала воду ногой и охнула. «Ну чего», — сказала Нюра сурово. Маруся сунула

ногу в воду. «Держи, держи, — говорила Нюра, — привыкнешь... Другой ногой становись». Подросток ждал со страхом, что сейчас её придётся вытаскивать и звать на помощь, потому что она сожгла себе всё тело кипятком, но Маруся героически сидела на корточках там, на табуретке, схватившись руками за края бочки, и громко, со свистом дышала открытым ртом, моргая круглыми и блестящими, чёрносмородиными глазами с огромным неподвижным зрачком. «Терпи», — сказала Нюра, строгая, словно на работе, вся розовая, полногрудая, в шлеме тёмнорусых, кое-как свёрнутых волос, теперь уже совершенно не стесняясь подростка. «А ты, — она показала рукой на предбанник, — посиди там... — И когда он толкнулся в тяжёлую дверь, крикнула вслед: — Смотри никому ни-ни!» Процедура помогла лишь отчасти. Ночью хлынула кровь, полуживую Марусю принесли на руках в хирургию, и главврач, в халате, кое-как завязанном на затылке, в ботинках на босу ногу, облив спиртом руки, при свете керосиновых ламп сделал то, что было необходимо.

Случай, как уже говорилось, забылся — и не забылся; забвению, как ни странно, способствовало то, что последовало за этой сценой: кровотечение и всё остальное, немедленно распространившееся, — ведь в этой крошечной вселенной женщин ничто не оставалось тайной. Разве что не узнали, что он был там и помогал. Услыхав краем уха о том, что случилось,

мальчик испытал не жалость, а брезгливость, непонятную ему самому; можно предположить, почему обо всём этом хотелось забыть: аборт (слово, точное значение которого он не знал) означал некоторый взлом женского тела, которое в его представлении (хоть он этого и не сознавал) было и чем-то аномальным, и вместе с тем целостно-неприкасаемым, круглозамкнутым, с плотно сжатой складкой; всё, что его разжимало, будь то естественные отправления, кровь или насилие, вызывало в нём отвращение. Мальчик был мужчиной, иначе говоря, адептом девственности. Так получилось, что обе части ночного приключения — баня и то, что за ней последовало, — разъединились в его сознании, и несчастье, едва не унёсшее Марусю Гизатуллину, было репрессировано памятью. Но зрелище, представшее перед ним в тускло-блестящем, пахучем банном тумане, не пропало бесследно; оказалось — в тот момент, когда, сидя в классе, он думал о почтальонке и о письме, — что оно хранится в дальнем закоулке памяти, словно под замком, который отомкнуло одно единственное слово-ключ; он и стыдился вспомнить, и не мог воспротивиться этому воспоминанию. Пробуждало ли оно чувственность в подростке? Нет, мы этого не думаем; скорее чувство экзотики и внезапное открытие красоты и гибкости этого тела, чьё совершенство, может быть, нарушала лишь слипшаяся от влаги дельта внизу живота; не зря ваятели древно-

сти избегали изображать эти волосы. Но, как и все архаические воспоминания, образ нагой, полногрудой и круглобёдрой девушкибогини не мог связаться с Нюрой их совместного пути по скрипящему снегу, морозным утром из больницы в село.

Лето кончилось, уже не купались, и горячий солнечный день, когда она стояла, круглоголовая, похожая на крупного мальчика, с серёжками в ушах, щурясь от пляшущих бликов, и её круглые плечи и начало груди белели над водой, день этот в свою очередь ушёл в легендарное прошлое. Подросток жил тем, чего было в избытке: будущим. Подросток вышел на крыльцо, весь захваченный новым замыслом, словно внезапно налетевшим ветром, то была грандиозная драматическая поэма, долженствующая отразить всю историю человечества, с прологом на небесах, как в «Фаусте», и эпилогом в коммунистическом обществе. Между тем было нетрудно догадаться по голосам и смеху за перегородкой, что у Маруси Гизатуллиной гостит муж. Как спящего будит тревога, а он от неё отмахивается во сне, словно от чего-то несущественного, мешающего, так мальчику, которого настойчиво будила жизнь, казались досадной помехой вздохи и скрипенье кровати за стеной. Он дунул на пламя и вышел, ночь была синей, серебряной, где-то за тысячи километров гремела война. И вся жизнь была впереди.

Возвращаясь по узкой тропинке из домика на отшибе, похожего на скворечник, он увидел человека в наброшенной на плечи шинели, который сидел перед домом на брёвнах, сваленных Бог знает когда, ещё до войны. «Что, спать не дают тебе?» — спросил человек. «Рано ещё», — сказал подросток. «Чего ж ты делал?» — «Читал». — «А? Ты извини, я плохо слышу. Уроки, что ль, делал? Садись, чего стоять».

Солдат добавил:

«Вон какая лунища».

Потом спросил, в каком он классе, вопрос, означавший только одно: сколько осталось ещё до призыва? Вытянув ногу, извлёк из штанов-галифе серебряный портсигар, из кармана гимнастёрки вынул мелко сложенную газету, оторвал листок, добыл щепоть махорки из портсигара — всё левой рукой. Правая, обрубок, замотанный во что-то, висела на перевязи. «Куришь? — сказал он, защёлкивая портсигар. — Давай, приучайся». Подросток свернул и стал слюнить сигарку. «Бумага херовая, очень-то мочить не надо», — заметил инвалид. Он поднёс зажигалку к самому его носу. Мальчик закашлялся. Луна стояла в пустом небе, чёрным оловом обливая лицо солдата, его сапоги, пуговицы шинели. «Откуда будешь?» Эвакуированный, сказал подросток. Солдат кивал, он, очевидно, не расслышал. «Ну, и как ты тут живёшь, среди баб. Небось какая-нибудь

уже... а?.. А самому хочется? — спрашивал он. — Х... стоит?»

«Ты извини, — пробормотал он, — это я так, в шутку. Ты не обращай внимания. И курево, того. Побаловался, и хватит». Он отобрал у него цыгарку, к большому облегчению для мальчика, загасил плевком, ссыпал остаток махорки в портсигар.

«Женщины, это, брат, такое дело, без них невозможно, а свяжешься, тоже одна морока».

Оба смотрели на чёрно-маслянистую траву, начавшую кудрявиться, как бывает осенью, на слабо отсвечивающую дорогу, по этой дороге брела старая почтальонка тётя Настя, с тайным посланием. Конечно, письмо и всё, что за ним последовало, было позже, зимой; но в воспоминаниях ничего не стоит перетасовать события, и в конечном счёте всё происходит одновременно. «Ну, я пошёл», — проговорил подросток.

«Куда? Посиди, ещё рано. Посиди со мной... Ты её знаешь?» Солдат имел в виду, очевидно, Марусю Гизатуллину. Очевидно, не знал, что подросток проживает с мамой в этой же секции за перегородкой.

Он сказал, что у него был друг в госпитале; теперь ждёт, обещали какие-то особенные протезы. Такие, что хоть пляши. Одно враньё, сказал инвалид. Нельзя же у человека отнимать надежду.

«Адресок дал, велел привет передать... Что народу покалечено, это я тебе рассказать не могу».

Следовательно, это был не тот муж, который приезжал в прошлый раз, и вообще было непонятно, который из них муж.

Подростку казалось, что уже тогда он был достаточно взрослым, чтобы понять, что означало происходившее в бане, зачем понадобилось лезть в горячую воду. Но на самом деле только сейчас, слушая нового мужа Маруси, он уловил чудовищную связь событий, он понял, что кровотечение было расплатой за то, что происходило за перегородкой.

В середине ноября рано ударившие холода сковали грязь на дорогах, это способствовало успешному продвижению: спустя две недели передовые части вступили в пригороды; двадцать, самое большее двадцать пять километров оставалось до центра столицы. Командир артиллерийского дивизиона, справившись по карте, увидел, что из десятисантиметровых дальнобойных орудий можно обстреливать Кремль. Командир был убит осколком снаряда на другой день, когда началось русское контрнаступление. Мороз рассвирепел, столбик ртути опустился так низко, что его больше не было видно, в прицельных приделах ручных и станковых пулемётов замерзло масло. Пехота закопалась в снег. Ночные патрули расталкивали замерзающих. Битюги, тащившие орудия, вязли на разбитых дорогах, теперь это была уже не грязь, а снежная каша. К концу первой недели декабря пришло утешительное известие:

на Тихом океане императорская авиация успешно бомбардировала Перл-Харбор. Потоплено столько-то кораблей и так далее. Значит, Америка будет отвлечена и не сможет помогать англичанам в Европе. Япония протянула руку рейху. Рейх объявил войну Америке. Фюрер в Берлине отдал приказ войсковой группе «Центр» стоять во что бы то ни стало. В Москве вождь и верховный главнокомандующий чуть было не покинул столицу в роковые дни октября, но теперь воскрес духом. Несмотря на потерю трёх с половиной миллионов, сдавшихся в плен врагу, армия, пополняемая новыми резервами, численно превосходила рать завоевателей. После неслыханной, нигде и никогда не бывалой артподготовки армия двинулась вперёд. Позади наступающих стояли заградительные отряды. Поля и перелески были усеяны трупами. Умиравших было некому подбирать. И среди тех, кого некому было подбирать, где-то у Наро-Фоминска, всё ещё живой, с раздробленными ногами, лежал летний муж Маруси Гизатуллиной, тот, который дал адресок; и было это после того, как он гостил у Маруси, и, может быть, в тот самый день, когда подросток и Нюра держали за руки маленькую, не решавшуюся ступить в бочку Марусю, он подорвался на mine; кровь была обоюдной расплатой.

«А я тебе так скажу, — продолжал солдат, — можно и на колёсиках ездить. Зато списан вчистую. А? Чего говоришь-то, не слышу».

Подросток топтался перед сваленными на землю брёвнами. Человек с лопнувшими барабанными перепонками устремил на него вопросительный взгляд.

«Завтра уезжаю, — сказал он, — ночку переночую, и...»

16. Дневник. Незабываемая минута

Поближе всмотреться, описать её, вспомнить, какой была она в ту минуту, четыре месяца спустя, когда, постучавшись, вошла к нему в полутёмную келью. Представить себе ночное бдение Фауста (только что прочитанного), свечу и пульт с толстой книгой, а в ней таинственный знак Макрокосма. Или нет — фильм, мятущийся огонёк на экране, идут титры, музыка из «Бориса Годунова»: 1603 год, келья Чудова монастыря. Камера отъезжает. Коптилка, край стола, рука, держащая школьную вставочку, в полутьме зрачки сидящего, которые он переводит навстречу еле слышному звуку. Кто там, спросил подросток. Прежде чем войти, она поскреблась в дверь. По-видимому, она ужасно стеснялась. Она пришла попросить «что-нибудь почитать».

Теперь она звалась Анной, Аней. Прошлое было репрессировано; время, когда она ничем не отличалась ни от Маруси с её мужьями, ни от строгой, молчаливой, преданной своему полумифическому же-

ниму Маруси Мухаметдиновой, ни от глупенькой регистраторши Зои Сибгатуллиной, вообще от всякого другого существа женского пола, время это прошло. Словно не она стояла в воде среди визжащей детворы, не она лежала в бреду, бледная и остриженная, как мальчик, а позже переселилась в соседнюю секцию. Все воспоминания гаснут в магниевой вспышке настоящего; все сравнения отменены, настоящее ни с чем не сравнимо. Она явилась, выбрав поздний час, когда маленький посёлок спал, экономя керосин, и только в двух лечебных корпусах, общем и родильном, и в заражном бараке теплились огоньки; когда мать подростка дежурила в общем отделении, где помещались терапия и хирургия. Скрипнула тяжёлая дверь на кухне, мальчик услышал жалобу ржавых петель, и всё стихло, словно кто-то не вошёл, а вышел; должно быть, гостя медлила несколько мгновений и, совсем было решив, что всё это ни к чему, приблизилась к его двери. Мальчик сидел, устремив глаза на тусклый лепесток огня, впад в бесчувствие; он спросил почти автоматически: «Кто там?»

И она вступила в комнату, неуклюжая, слишком большая, в шерстяном платке, в накинутом на плечи коротком, до бёдер, собранном в талии пальто на вате и белом платье с прямым вырезом, которое, скорее всего, было ночной рубашкой. Значит, она уже легла — и раздумывала, что предпринять и стоит ли

что-нибудь предпринимать, — и, наконец, встала, сунула ноги в валенки и накинула пальтецо и платок, так что соседи могли подумать, что она вышла по нужде. Но, похоже, все спали. Она побежала, скрипя маленькими валенками, по снежной тропе к домику на отшибе и, озябая, на обратном пути остановилась возле первого крыльца, думая о письме и о том, что всё это ни к чему, и не зная, что она скажет. Она поскреблась в дверь, там что-то ответили. Она вошла. Было полутемно, стол освещён коптилкой. Она вошла в блеске и красоте своих девятнадцати лет, пунцовая, нелепо улыбаясь, «а вы ещё не спите?» — пролепетала она, как бы в извинение за поздний визит. Ответа не последовало, ошеломлённые глаза уставились на неё. «Нюра?» — сказал он наконец. Она села, сжимая на шее воротничок из дешёвого меха. Не найдётся ли чего-нибудь почитать?

В школе, сказала она, её всегда называли Аней, и в училище Аней, только здесь кто-то придумал. Нюра и Нюра, так и пошло. «Но это красивое имя», — возразил мальчик. «Чего ж в нём красивого». — «Хорошо, — сказал он, — так я и буду вас называть».

«Аня», — сказал он.

«А вы всё не спите. Глаза портите».

Он пожал плечами.

«Всё учитесь, так поздно».

Она хотела сказать, делаете уроки. А может быть, подразумевала другое: тетрадь, лежавшую перед ним, ведь это из неё был вырван двойной лист для письма, которое неотступно стояло между ними, связало их и вместе с тем разделило; о котором ни слова, как если бы оно пропало, как если бы оставалось неизвестным, получила ли она письмо.

«Да нет, — пробормотал он, — какие уроки».

Ещё не легли, всё сидите, что-то в этом роде произнесла она, не эти слова, так другие, надо же было что-то сказать. Но фраза имела мысленное продолжение, было очевидно, что она пришла неспроста, никто на свете не усомнился бы в том, что она пришла неспроста. Мальчик не смел этому поверить. Значит, ты точно так же сидел три дня тому назад, вот что означала эта фраза, сидел и писал мне... а знаешь ли, что я твоё письмо действительно получила? Вот — как видишь, я пришла. Капли инея блестели на её волосах. Мельком взглянув в окно, она отвела со лба выбившуюся прядь, — на среднем пальце левой руки она носила оловянное колечко, — поддёрнула пальто, её глаза скользнули по столу, по раскрытой тетрадке.

«Какие уроки», — пробормотал мальчик.

«Что же вы пишете?»

«Дневник».

Она обрадовалась этой возможности говорить о чём-нибудь, в конце концов можно было повернуть

дело и так, что никакого письма не было, и в то же время держаться близкой темы; и что же это, спросила она, демонстрируя несколько преувеличенное любопытство, что за дневник?

Мальчик ответил, что он записывает события своей жизни и всё, что он думает о людях.

Она снова поправила пальто на плечах, уселась удобней на табуретке, отвела прядь волос, разговор, сперва напоминавший осторожное продвижение по минному полю, как будто принял более или менее естественный характер, и письмо заняло своё место в распорядке вещей, показалось даже нормальным, что оба помалкивают о нём. И, укрепившись на занятых позициях, она расхрабрилась до того, что задала следующий вопрос, но сейчас же почувствовалось, что они снова приблизились к mine, зарытой в землю: «А мне...?» — спросила она, кладя локти на стол и слегка наклонясь, конечно, это был произвольный жест. Её грудь слегка выдавилась из выреза рубашки. «А мне — можно почитать?» И много лет спустя, — если представить это как фильм, как замедленную съёмку, где мгновение бесконечно, — она всё так же сидит в чахлом сиянии коптилки, сложив на столе обнажённые руки, опираясь на них, отчего её груди стоят в вырезе платья или, может быть, ночной рубашки. Её тень простёрлась по дощатому полу, достигла кровати. Мальчик невольно взглянул на её шею и ниже, тотчас же она изменила

позу, сомкнула пальто на груди, другой рукой, с колечком на пальце, подпёрла щеку ладонью, подняла на подростка глаза, серый жемчуг, и словно приготовилась выслушать, что он там написал.

Нюра Привалова никогда не получала любовных писем. За свою жизнь она сменила пять пар туфель и прочла десять книг. Судорожное было главным средством сообщения между городком, где она родилась, и остальным миром, лишь два или три раза в жизни ей приходилось ездить по железной дороге. Как все её сверстницы, она была озабочена тем, что её время, время любви, проходит даром. Как многие девушки её поколения и социального круга, она видела жизнь без прикрас, а, с другой стороны, показалась бы ребёнком девицам её возраста, которые будут жить полвека спустя. Нюра Привалова ещё не получала таких посланий. (Можно предположить, что оно было не только первым, но и последним в её жизни). То, что она прочла там, перечитывала дома и на дежурстве, разбередило её воображение, как только может разбередить воображение литература. Письмо, словно горячий шёпот, звучало в её ушах. Письмо было от ребёнка, и не стоило принимать его всерьёз. Письмо было от мужчины. Письмо возвестило её голосом чревоушателя о том, что она могла бы сказать и сама, если бы умела найти такие слова, о сладостно-стыдном, сокровеннооткровенном; что-то ворвалось в её

жизнь, как порыв ветра в хлопнувшую дверь, вознесло её над самой собою, исторгло из монотонного быта, — и вот, она постучалась в комнатку. Она пришла. Зачем? Всякое обожание льстит, и Нюре по крайней мере хотелось взглянуть поближе на того, кто прислал ей такое письмо. Значит, она пришла, чтобы поговорить о письме? Но оказалось, что дразнящая тайна, о которой знают оба, становится ещё увлекательней, когда о ней умалчивают. Вместе с тем оказалось, что произнесённые слова мешают продолжению; тайна, не высказанная вслух, парализовала мысль о том, чем могло бы стать это продолжение; слова служат смазкой, которая застывает, если механизм стоит на месте. Она ждала, что он заговорит первым. Оба, мальчик и женщина, ещё не понимали, что уголь, пышущий жаром, подёрнется золой, если его не раздуть.

Нюра была медсестрой и знала, что человек состоит из кожи, костей, мышц и желёз; знала, что жизнь проста и шершава и что мужчины хотят от баб всегда одного и того же; знал ли об этом автор письма? Ему бы следовало родиться в век Маймонида и Святого Фомы. Обречённый вечному сидению перед лампадой, он унаследовал от неведомых пращуров культ молчаливого слова, он перенял их надменную застенчивость, близорукость, размывающую контуры женских лиц, и у него было только одно преимущество, если это можно считать пре-

имуществом: за вычетом двух-трёх человек он был единственным мужчиной в больничном посёлке.

Он не ответил на вопрос, можно ли заглянуть в дневник, и спросил, глядя на её руку: из какого это металла? «Это дешёвое кольцо», — сказала Нюра, или Аня, всё-таки он не мог привыкнуть к этому имени, — и с усилием стянула колечко с пальца. Дикое воспоминание на секунду представилось подростку, был такой случай: он сидел в отделении, где работала мать, в комнатке дежурного врача, и листал огромную книгу, подшивку газеты «Врач», целая кипа таких книг в твёрдом картоне лежала на шкафу. Глянцевые страницы, дореволюционная орфография, условия подписки, учёные статьи, письма с мест, хроника, смесь — он перелистал дальше, случай из практики. Десятилетний пациент надел себе кольцо из любопытства или озорства, — и ему представилось, что он сам его насаживает, — доставлен с сильными болями из-за отёка головки члена.

«Почитайте, — сказала Нюра, надевая кольцо, — что вы там написали».

Он помотал головой.

«Отчего же? Это секрет?»

«Там написано о вас».

«Вот и прочитайте».

«Там ничего плохого нет, наоборот».

Она насунула колечко на средний палец левой руки, помогая себе винтообразными движениями

пальца, у неё были довольно толстые, сужающиеся к концам пальцы, пухлый, с ямочками тыл ладони.

«Ну тогда я сама прочту, можно?»

Уставясь на огонёк коптилки, подросток покачивал головой и, конечно, не мог припомнить через много лет, о чём, собственно, были эти страницы. Должно быть, всё о том же, об открытии, которое он ей поведал, так что, в сущности, ничего нового для неё там не было, но именно это ей хотелось прочесть. Сама же тетрадка, сгнувшая вместе со всеми его сочинениями, сероголубая обложка с линейками посередине: «по...» (вставить предмет), «ученика, ученицы», с римской цифрой, начертанной наверху, четвёртый или пятый том дневника, — стоит перед глазами, словно ещё вчера он сидел над ней перед голодным огоньком; его почерк, говоривший об авторе больше, чем он мог о себе написать, даты, беззвучный грохот войны, которая шла уже на Волге. Ни за что на свете подросток не показал бы тетрадку никому, слишком велики были его авторская стыдливость и авторское самолюбие, но тут перед ним был совершенно особый читатель.

«Дайте, — сказала Нюра, угадав его мысль, — я сама прочту...»

Он закрыл дневник. В этом жесте было что-то от девственной барышни, как бы уже готовой сдать-ся. Он захлопнул тетрадь, как сжимают коленки. Они поменялись ролями, теперь она наступала, де-

ликатно и осторожно; ей хотелось услышать ещё раз то, что уже было в письме.

«Значит, вы написали обо мне неправду. Раз не хотите дать почитать».

«Нет, — возразил он. — Это правда».

«Написали, наверно, Бог знает что. Вдруг ваша мама узнает».

«Что узнает?»

«Что я у вас так поздно сижу».

Сердце заколотилось от этой фразы. От признания, что она пришла не случайно, что об их свидании никто не должен знать, от того, что их уже связала тайна. И, может быть, пришла не от скуки или не совсем от скуки, не из любопытства или не только из любопытства. Если такая мысль и могла притти ему в голову, то додумать её до конца возможно было лишь спустя годы. Мальчик не догадывался, что в этот вечер он одержал победу как писатель.

Встаёт вопрос, чего он, в свою очередь, ждал, чего «добивался».

Да, собственно, ничего.

Нельзя сказать, что он был чужд тайных и, как считалось в то время, постыдных помыслов и желаний, однако ни в каком другом возрасте расстояние между идеальной и площадной любовью не бывает так велико, ничьи романтические вздохи не могут сравниться с целомудрием, с упоительным ханжеством подростка. Это была любовь, которая

кормилась взглядами, одним лишь видом живой, реальной женщины, цвела и томила, как тепличное растение, в лучах её физической красоты и тут же отворачивалась от неё, не искала свиданий и могла бы сказать себе, ах, всё это неважно, я буду её любить даже если её краса несовершенна, даже если возлюбленная глупа и вульгарна, любить в ней то, о чём она сама не подозревает, любить ради того, чтобы любить. В конце концов такая любовь могла дойти до того, что её «объект» — женщина, какая она есть, во всей её живой реальности, — становился уже чем-то малосущественным.

Он употребил несколько смелых выражений, навеянных чтением книг, — кажется, там даже говорилось о «ночах, полных огня», — так что можно предположить, что в особенности они, эти выражения, взволновали Ньюру, усмотревшую в них неприкрытое желание. Она не могла представить себе, что письмо — как и писательство — может быть в некотором роде самоцелью. Или, лучше сказать, никак не сумела бы удовлетвориться тем, что объяснение в любви уже было в определённом смысле осуществлением любви. Потому что всё, что хотел автор, — это «сказать» ей. Она должна была знать, вот и всё; знать, что её походка (а что в ней особенного?), манера откидывать руку в сторону (так делали тысячи девушек), её выпуклые серо-жемчужные глаза, пухлые губы, хрипловатый голос и самый звук её име-

ни, что всё это — род наваждения: чарует, парализует и не побуждает ни к каким тактическим замыслам. Это была любовь рыцаря Тоггенбурга. Женщина была польщена. Но с этой любовью нечего было делать. Такая любовь рисковала обесцениться именно по той простой причине, что с ней нечего было делать.

Как всякая в её положении, она ожидала дальнейших действий, не особенно задумываясь, чем и как на них пришлось бы ответить. Сказать себе: глупости, не хватало ещё связаться с младенцем, — или сделать встречный шаг, впрочем, еле заметный, поддаться неопределённому соблазну, сказать себе, какой же он малолетка, если пишет такие письма. Перейти в открытое наступление она была неспособна, для этого она была слишком скована репрессивной моралью своего времени и круга, слишком порабощена, чтобы просто подумать, а не переспать ли с ним. Отсутствовало ли слово «спать» в лексиконе её ровесниц? Мы в этом не уверены. Между тем Нюра была девственницей. Она чувствовала, что с ней и ведут себя как с девственницей, хоть и не отдают себе в этом отчёта, и что робость мальчика должна соответствовать её стыдливости. Довольно было уже и того, что она отважно постучалась к нему, выбрав время, когда мать подростка дежурила в отделении (впрочем, мать подростка дежурила часто, через ночь); довольно было того, что, увлечённая

бессмысленным разговором, забывшись, — мы допускаем, что это произошло произвольно, — она склонилась над столом и её груди, теснясь под рубашкой, поднялись и выступили из выреза. Ей показалось, что глаза подростка скользнули по ним, это был опасный момент. Она мгновенно выпрямилась, убрала руки со стола и подтянула пальто. Итак, робость и отвага руководили обоими, — точнее, робость, неотличимая от отваги. Скучный быт районной больницы, река, похожая на вечность, метели и оттепели — всё сместилось и отступило перед этим событием, и обоим, каждому на свой лад, показалось, что их ожидает что-то неизведанное, восхитительно-роковое; обоих соединила высокая тайна и отгородила их от окружающих, ветер судьбы приподнял их, может быть, для того, чтобы больно шмякнуть об землю. По неписанным правилам игры, уже учредившей над ними свои права, женщина должна была делать вид — перед ним, перед самой собою, — что выходит из дому вовсе не ради того, чтобы встретиться; в темноте она бежала по снежной тропке от крыльца к домику на отшибе, за конюшней, подросток стоял на крыльце барака, она возвращалась, медленно шла, опустив голову, кутаясь в короткое ватное пальто, над головой у неё горели Стожары, её лицо казалось чёрным в ртутном сиянии звёзд, и волосы окружал, точно нимб, серебряный иней. Она озиралась. В полутёмных сенях

стояли друг перед другом, дрожа от холода, с окочевшими ногами, неподвижные, печальные, словно брат и сестра, словно суженые перед тысячевёрстной разлукой, не зная, что сказать друг другу, и когда, наконец, удавалось преодолеть немоту, по-прежнему говорили друг другу вы.

Но сны, проклятье, насылаемое богами! Такая гипотеза по крайней мере перекладывает на богов ответственность за всё постыдное, что является воображению. О снах можно сказать, что не мы их видим, но они взирают на нас из каких-то уже не подведомственных нам низин. Сны не то чтобы отрицали величие любви. Не то чтобы демонтировали хрустальный дворец, но как будто водили вокруг него, чтобы впустить с чёрного хода, — и что же там оказалось? Сон приснился с такой достоверностью, какой не бывает наяву. Они были совершенно одни, это было решающее свидание, кругом тишь и тьма. Это было где-то в поле и в то же время на крыльце, вернее, в сенях, и мальчик силился что-то сказать, но то ли не мог выговорить ни слова, то ли она не слушала, повернувшись спиной, что-то делала там, он видел её шевелящиеся локти, склонённый затылок, пока, наконец, не понял, что она снимает с пальца оловянное кольцо, чтобы отдать ему. Он хочет её обнять, наконец-то наступил этот момент, она не даёт, в конце концов ему удалось почти овладеть ею, он думает, что можно всё совер-

шить стоя, здесь же, в тёмных сенях, но за спиной у неё стоит тень, Ньюра её не видит и совсем уже как будто согласна, но он-то видит, что это тень Ченцова закрыла звёзды в дверном проёме. Мерзкий сон! Вновь наступила оттепель, с утра хлестала мокрая метель, подросток пришёл в село, весь облепленный снегом. Сидя на скучном уроке, он всё ещё вспоминал случившееся ночью, свидание и обманную близость, и, стыдясь самого себя, не мог отделаться от сожаления о том, что сон, неожиданно прервавшись, оказался всего лишь сном.

Больной по имени Ченцов, тот, кто стал местной знаменитостью после того, как однажды утром исчез из отделения, сидел с папироской на табуретке, греясь на жидком солнышке; он спросил, когда подросток вышел на крыльцо: «Тебе кто разрешил сюда ходить?» Подросток держал на ладони завернутую в бумагу селёдочную голову, лакомство, которое мать добывала для него на больничной кухне. Он смотрел на человека с проплешинами в бесцветных волосах, точно они были трачены молью, с естественно высоким лбом, с блестящими серебряными глазами; Ченцов был бледен, худ, одет в старую пижаму из больничной байки и байковые, наподобие лыжных, штаны, тощая нога закинута за ногу, на голой ступне болталась туфля-полуботинок с незавязанными шнурками. «У меня есть предложение, — промолвил он, щурясь от дыма, — даже

два. Первое. Давай с тобой переведём заново всего Гейне».

Его хватились во время завтрака, как на зло в ту ночь дежурила лучшая сестра, строгая и чернобровая Маруся Мухаметдинова, ей и пришлось отвечать. Маруся уже раздала градусники, когда пришла сменщица, но для ходячих больных измерение температуры, в сущности, было формальностью; при сдаче термометров по счёту одного не хватило, пропал и сам Ченцов, прошло полтора часа, он не появлялся, его не было на территории больницы; кладовщица, ехавшая со своей фурой из села, не встретила никого. Случайно подвернулся парнишка из деревни, в пяти верстах от больницы, если итти в сторону, противоположную райцентру, — все русские деревни располагались вдоль берега, потому что казаки (объясняла учительница географии) плыли когда-то на своих ладьях вверх по реке и оттесняли местное население вглубь страны. Пацан сообщил, что какой-то человек стоял на дороге с часами в руках. Человек показал ему часы, они были с одной стрелкой, не часы, а компас.

Его нашли, согбенная фигура виднелась у кромки берега, — река уже потемнела, лёд покрылся водой. Ченцов сидел весь посиневший от холода на вмёрзшей в ноздреватый снег Большой по имени Ченцов, тот, кто стал местной знаменитостью после того, как однажды утром исчез из отделения, сидел

с папироской на табуретке, греясь на жидком солнышке; он спросил, когда подросток вышел на крыльцо: «Тебе кто разрешил сюда ходить?» Подросток держал на ладони завёрнутую в бумагу селёдную голову, лакомство, которое мать добывала для него на больничной кухне. Он смотрел на человека с проплешинами в бесцветных волосах, точно они были трачены молью, с неестественно высоким лбом, с блестящими серебряными глазами; Ченцов был бледен, худ, одет в старую пижаму из больничной байки и байковые, наподобие лыжных, штаны, тощая нога закинута за ногу, на голой ступне болталась туфля-полуботинок с незавязанными шнурками. «У меня есть предложение, — промолвил он, щурясь от дыма, — даже два. Первое. Давай с тобой переведём заново всего Гейне».

Его хватились во время завтрака, как на зло в ту ночь дежурила лучшая сестра, строгая и чернобровая Маруся Мухаметдинова, ей и пришлось отвечать. Маруся уже раздала градусники, когда пришла сменщица, но для ходячих больных измерение температуры, в сущности, было формальностью; при сдаче термометров по счёту одного не хватило, пропал и сам Ченцов, прошло полтора часа, он не появлялся, его не было на территории больницы; кладовщица, ехавшая со своей фурой из села, не встретила никого. Случайно подвернулся парнишка из деревни, в пяти верстах от больницы, если итти в

сторону, противоположную райцентру, — все русские деревни располагались вдоль берега, потому что казаки (объясняла учительница географии) плыли когда-то на своих ладьях вверх по реке и оттесняли местное население вглубь страны. Пацан сообщил, что какой-то человек стоял на дороге с часами в руках. Человек показал ему часы, они были с одной стрелкой, не часы, а компас.

Его нашли, согбенная фигура виднелась у кромки берега, — река уже потемнела, лёд покрылся водой. Ченцов сидел весь посиневший от холода на вмёрзшей в ноздреватый снег коряге, в глубокой задумчивости, с термометром под мышкой, он даже не заметил приближавшихся санитарок и до смерти перепуганную Марусю. Без всякого сопротивления дал себя отвести в больницу. На другой день он во второй раз напугал Марусю Мухаметдинову, явившись поздно вечером к ней домой, с букетиком, чтобы сделать ей, по его словам, предложение, даже два. Первое было предложение руки, к которому Маруся отнеслась очень серьёзно, опустив глаза, поблагодарила, но сказала, что у неё есть жених и она выйдет за него, когда он вернётся с фронта; что касается второго, то оно автоматически отпадало после того, как было отвергнуто первое: Ченцов предлагал ехать вместе с ним в Москву.

17. Весна

Было холодно, стояли хрустальные лунные ночи, лёд только ещё собирался двинуться далеко в низовьях; что-то происходило во мраке, потрескивали сучья, кричала загадочная птица, — и вот, поднялось слепящее солнце, блеснули трубы, грянул небесный оркестр. Дорога поднялась над осевшим, посеревшим снежным полем, между грязножёлтыми колеями с голодным верещаньем неслись, криво ставя короткие ножки с копытцами, тряся тощими задами, плоские, почерневшие за зиму свиньи. Подросток швырял в них комьями мёрзлого снега и всю дорогу от дома до школы горланил песни. Он сорвал с головы шапку и крутил её за верёвочку для подвешивания под подбородком. Всё было кончено или казалось, что кончено. Триумф свободы, избавление от изнурительной любви.

«А второе?»

Ченцов не понял.

«Второе какое предложение?» — спросил подросток.

Больной насупился, засопел, уставился на окурок и швырнул его в сторону.

«Второе, угу... Хотите знать? — медленно, перейдя на вы, проговорил он. — Я вам доверяю. Хотя, возможно, это несколько преждевременный разговор».

Он поманил пальцем собеседника и продолжал вполголоса: «Надо дожидаться, когда установится дорога».

«Дорога?» — спросил мальчик.

«А также судоходство».

«Судоходство?»

«Да. Неужели вам здесь не надоело?»

«Где?»

«Здесь. В этой дыре».

Мальчик сказал, что нужен вызов.

«Э, чепуха, можно без вызова; когда ещё вызов придёт... А кто вас, собственно, должен вызвать?» — спросил Ченцов.

«Папа».

«Он в Москве?»

«Он на фронте».

«Ваша мама получает от него письма?»

Подросток был вынужден признать, что писем нет с тех пор, как они уехали. Ченцов задумчиво поддакивал, кивал головой.

«Он в особых войсках», — объяснил подросток.

«Гм, это, конечно, убедительное объяснение... а вы уверены, что он...? Я хочу сказать, вы уверены, что он жив?»

«Оттуда нельзя писать письма».

«Угу. Разумеется. Да, конечно. Ну что ж. Будет даже лучше. Отец вернётся, а ты уже в Москве!»

Подросток сошёл с крыльца. Ченцов снова поманил его пальцем.

«Это пока ещё сугубо предварительный разговор. И сугубо конфиденциальный. Ты меня понимаешь?»

Подросток кивнул.

«Лучше всего сесть на какой-нибудь другой пристани, — сказал Ченцов. — Например, в Сарапуле. У меня есть сведения, что там не проверяют... Главное, сесть на пароход, в крайнем случае можно договориться, чтобы нас взяли на баржу. А там — прямой путь до Москвы. Как у тебя с документами? Паспорта у тебя, разумеется, нет, это ещё лучше».

Подросток колебался. Вообще-то, заметил он, у него был другой план.

«Можешь мне открыться».

Подросток всё ещё молчал.

«Я нем, как могила», — сказал Ченцов.

Мальчик спросил, слышал ли он когда-нибудь об Иностранном легионе.

«О! Легион! Ещё бы. Но ведь, э...»

«Ну и что, — возразил мальчик. — Иностранный легион на стороне генерала де Голля. Иностранный легион воюет против Гитлера».

«Я думаю, — промолвил Ченцов, поглядывая по сторонам, — нам надо найти место поудобней... — Стемнело. Они обошли с задней стороны длинный бревенчатый барак инфекционного отделения. — К

тому же, как вы понимаете, дело не подлежит оглашению».

Поднялись на крыльцо регистратуры.

«Надеюсь, вы не поставили в известность вашу матушку. Женщин вообще не следует ставить в известность. Должен вам признаться, — продолжал он, — что я и сам когда-то подумывал. Да, подумывал, не записаться ли мне, чёрт возьми, в Иностран- ный легион! Я был здоров и молод. Но, знаете ли, с нашими порядками... Послушайте. Я вновь и вновь убеждаюсь, что лучшие идеи всегда приходят вне- запно. Их не нужно изобретать. Это то, что роднит поэтов и учёных. Как я рад, что нашёл в вашем лице родственную душу. А теперь представьте себе: через каких-нибудь две недели, может быть, через десять дней. Мы с вами шагаем по торцам московских площадей. Любуемся зубцами Кремля, колокольной Ивана Великого, дышим этим неповторимым возду- хом... Ах, друг мой! Вы не представляете себе, что значит само это слово, этот звук: Москва! В Москве я человек. А здесь?..»

«Вы здесь, кажется, с самого начала войны? Или нет: вы говорили мне, что эвакуировались в июле. После речи Сталина... О, не беспокойтесь, — говорил он, выпуская подростка в комнатку, где стоял письменный стол, — здесь нас никто не потревожит. Смотрите только, никому не проговоритесь. Я здесь

работаю по вечерам. Зочка мне разрешает. Чудная девушка, прекрасный человек».

«Тяжело, знаете, всё время в палате; хочется побыть наедине с собой... Я хотел вам рассказать, как я покинул Москву. Вернее, как меня заставили покинуть Москву, они всех заставляли; просьбы, мольбы — ничего не помогло; я, разумеется, сопротивлялся; какие-то два мужика, огромного роста, якобы санитары, втащили в вагон, представляете себе, в товарную теплушку, битком набитую! Но вы, наверное, тоже ехали в теплушке... Самый страшный день моей жизни. Я ничего не видел, ничего не слышал, я только смотрел глазами, полными слёз, на этот дорогой город, на эти башни, Ярославский вокзал или, кажется, Савёловский, не помню... Ничего не помню! Крики, плач, всё смешалось. Люди давят друг друга, толпа осаждает поезда, пассажирские, товарные, всё равно какие, вы этого не застали, и слава Богу... Вдруг все сорвались, все захотели уехать, оказывается, немцы подошли к Москве. Уже, говорят, по Дорогомиловской идут танки, уже... не знаю, может, уже и в городе».

«Вот, — сказал он торжественно. — Здесь всё записано. Всё, чему я был свидетелем. Для будущих поколений. А между тем отшельник в тёмной келье здесь на тебя донос ужасный пишет! Угадайте, откуда это?.. Правильно! Нет, нет, — он замахал руками, — не подумайте, что я тут... что-нибудь такое...

Какие-нибудь там выпады, клевета на нашу действительность, никоим образом, я лояльный советский гражданин. Я русский патриот! — грозно сказал Ченцов. — И я признаю правоту... да, я сторонник нашего строя. Ну, может быть, там, с некоторыми оговорками, это уже другой вопрос».

Он гладил ладонью бухгалтерскую книгу, разворачивал, разглаживал страницы, засеянные причудливым стрельчатым почерком с широкими промежутками между словами, — признак, на который, несомненно, обратил бы внимание графолог. Он захлопнул книгу, и раздвоенный язычок огня взметнулся в колбе, повевая чёрной кисточкой копоти, уже оставившей полосу на стекле; да, на столе сияла высокая лампа, роскошь тех лет, предусмотрительно заправленная регистраторшей Зоей Сибгатуллиной. Ченцов слегка прикрутил фитиль.

«Задача этих заметок, этой *Historia arcana, arcanissima*, 4 — увы, мой друг, латынь из моды вышла ныне, — представить человеческую жизнь на фоне всеобщей жизни. На фоне нашей эпохи. Нашей великой и, знаете, что я вам скажу, чудовищной эпохи... Все этажи нашего существования, от мнимого, навязанного, иллюзорного — до подлинного. Поэтому я здесь большое внимание уделяю моим собственным переживаниям, моей внутренней жизни. Что значит подлинное существование? Мой юный друг! — сказал вдохновенно Ченцов. — Меня назовут

сумасшедшим, пусть! Я не возражаю. Я вам скажу вот что... Мало кто отдаёт себе отчёт. Мало кто осмеливается! Мы живём не в одном времени, вот в чём дело. Если по-настоящему, философски взглянуть на вещи, мы существуем не в одном, мы существуем в двух, даже в трёх временах».

Подросток слушал и не слушал. Подросток думал о легионе. Он писал о нём в дневнике. В Иностранный легион брали всех. Не спрашивали ни документов, ни откуда ты взялся. Подросток чуть не проговорился, что он тоже ведёт дневник. Он думал о том, что за стеной находится инфекционное отделение и там дежурит Нюра. Теперь, когда он выздоровел от любви, он мог бы равнодушно и высокомерно, с лёгким сердцем, сообщить ей кое-что под большим секретом; если быть честным, ему не просто-таки не терпелось намекнуть ей об этом при первом удобном случае; он представлял себе её ошеломление и восхищение. Его спохватятся, возникнет подозрение, что он покончил с собой. И только она будет знать, куда он исчез, но он взял с неё слово, что она не проговорится.

Больной устремил на мальчика тоскливый вопрошающий взор — словно потерял нить мыслей.

«Я не говорю о временах грамматики, настоящее, прошедшее, будущее, в других языках вообще целая куча времён, не об этом речь... Мы живём в трёх временах. Объясняю. Во-первых, мы живём в

историческом времени. Нам всем внушают, что мы живём в истории, мы, народ, мы, нация, мы, общество, и что будто бы даже это самая главная, единственно важная жизнь. Якобы ради неё мы только и существуем. Так сказать, вертикальное время. От царя Гороха и до... ну, словом, вы меня понимаете. Но, с другой стороны, каждому приходится жить обыкновенной жизнью, в скучной повседневности, в тусклом быту. Это горизонтальное время, ползучее время рептилий. Получается, знаете ли, такой чертёж... Всё равно как битюги идут по мостовой, тащут возы, а воробьи клюют навоз между колёсами. И воробьи, и битюги вроде бы делают общее дело, а между тем что у них общего? Так и оба времени, историческое и бытовое, очень плохо согласуются между собой, по правде говоря, даже отрицают друг друга. Битюги тащут возы, а воробьи — что воробьи? Что они значат? Попробуйте-ка связать жизнь, которая происходит вокруг вас, с тем, что вам рассказывают на уроке истории; вот то-то же».

«По-настоящему, — он перешёл почти на шопот, — если хотите знать, мы не живём ни в том, ни в другом времени. Потому что это мнимая жизнь. Приходит день, иногда для этого нужно прожить много лет... так вот, приходит день. И до сознания доходит иллюзия и труха стадного существования, да, иллюзия и труха... И начинаешь понимать, что ты жил в царстве ложного времени. Суета повседневно-

сти, воробьиное чириканье — с одной стороны. Зловещий фантом истории, вот эти самые битюги, с другой. Жуткая игра теней... Всё это тебе навязано... Ты потерял себя, свою бессмертную душу... Я вам скажу... Я открою вам страшную тайну. Быт, рутина, обывательщина — это, конечно, враг человека. Но не самый главный. Самый ужасный враг человека — история. Или ты человек и живёшь человеческой жизнью, или ты живёшь в истории, в пещере этого монстра, и тогда ты — червь, ты — кукла. Тебя просто нет! Этот Минотавр пожирает всех! Я вам вот что скажу. Мой друг...»

И он раскашлялся.

«Мой юный друг, — хрипел Ченцов. — Настоящее, подлинное время — на чертеже его нет. Это время нелинейное, внутреннее время, и ты всегда в нём жил, с тех пор как Бог вложил в тебя живую душу, только ты не отдавал себе в этом отчёта. И поэтому как бы не жил! Время, которое принадлежит тебе одному, только тебе, вот, вот оно здесь, — он стучал пальцем по бухгалтерской книге, — истинное, непреложное, в котором самые тонкие движения души важнее мировых событий, в котором память — это тоже действительность и сон — действительность, в котором, если уж на то пошло, только и живёшь настоящей жизнью...»

Он перевёл дух. «Мы увлеклись, пора заняться делом. Где у вас эта... ну, эта... Живо, время не ждёт».

Лампа опять коптила. Ченцов сказал, что он обещал вернуться в отделение не позже одиннадцати. «Они, знаете ли, за мной следят, а сейчас надо быть особенно осторожным... не возбуждать подозрений. Сейчас я вам покажу, как это делается; пустяк; ловкость рук, никто даже не заметит».

«Сейчас мы это быстренько, комар носа не подточит... — бормотал он. — Что такое бумажка? Фикция, формальность. Бумажка не может управлять судьбой человека. От какой-то ничтожной пометки, от закорючки, от того, что кто-то когда-то написал одну цифру вместо другой, зависит вся жизнь... От этой идиотской цифры зависит, зачахнет ли смелый, талантливый молодой человек в глуши, в мещанском болоте, или перед ним откроется дорога в столицу! Ну что ж, коли мы живём в таком мире — можно найти выход. Нет таких крепостей, хе-хе, которых не могут взять большевики, как сказал товарищ Сталин. Подумаешь, важное дело. Был малолеткой, теперь станет взрослым. Дайте-ка мне... Отлично; теперь заглянем в стол; тут у Зоеньки должна быть, во-первых, бритвочка...»

Прежде всего, сказал он, выдвигая и задвигая ящик, следует оценить качество и сорт бумаги. От этого зависит дальнейшая тактика.

«Тэк-с, чернила обыкновенные, это упрощает задачу. — Он разглядывал потрёпанное, износившееся на сгибах метрическое свидетельство. — Бумага, конечно, не ахти. Из древесины, разумеется. Слава Богу, в нашей стране лесов достаточно... Плохая бумага обладает двумя отрицательными свойствами. Во-первых, она рыхлая и легко впитывает в себя чернила. А во-вторых... Ну, не в этом суть. Надо иметь практику, сноровку, это главное... Теперь бланки уже не изготавлиются на такой бумаге, теперь бумага для документов ввозится из-за границы, это я могу вам по секрету сказать, особо плотная, что, между прочим, облегчает подобные процедуры... Вообще должен вам доложить, что поправки в документах не такая уж редкость, можно сказать, обычное дело, просто вы с этим ещё не сталкивались. Когда-нибудь, — рассуждал Ченцов, держа в одной руке резинку для стирания, в другой безопасную бритву, которую регистраторша употребляла для очинки карандашей, — когда-нибудь, через много лет, когда вы будете знаменитым писателем, а я — глубоким стариком, мы с вами где-нибудь, за стаканом, знаете ли, хорошего вина, далеко отсюда! Будем вспоминать, как мы сидели вечером при керосиновой лампе, как по стенам метались наши тени, а кругом на тысячи вёрст расстилалась бесконечная ночь, и в вышине над тёмной рекой трубила неслыханная весна, и мы читали стихи... Трубят го-

лубые гусары.. В этой жизни, слишком тёмной... Гейне. И я говорил вам, — да, и не забывайте об этом никогда, как я вам говорил, предсказывал вам, что у вас впереди блестящее будущее. А теперь за дело».

Больной крикнул, отложил свои орудия, потёр ладони и на минуту задумался. После чего схватил бритву и начал царапать уголком по бумаге. Отложив бритву, принялся тереть по расцарапанному резинкой. Снова взялся за бритву, процедура была повторена несколько раз, под конец мастер загладил место, где прежде стоял год рождения, жёлтым ногтем.

«Тэк-с, — промолвил он. — Аусгецайхнет. Угадайте, что это слово значит?»

«Отлично».

«Правильно! Далеко пойдёте, молодой человек. Итак... один росчерк пера, всеильного пера! И — позвольте поздравить вас с совершеннолетием».

Ченцов занёс перо над метрическим свидетельством и остановился.

«М-да. Угу».

Он отложил ручку, подпёр подбородок ладонью.

«Я же говорил вам: отвратительная бумага. Вон первых, рыхлая... Они просто не умеют изготавливать настоящую бумагу».

Оба рассматривали документ, на обороте отчётливо была видна дырка.

«Дорогой мой, — промолвил Ченцов, — я думаю, что теперь нам ничего не остаётся, как выкинуть метрику. Лучше уж никакой, чем такая...»

«А как же...» — спросил подросток.

«Что? Очень просто. Когда придёт время получать паспорт, нужно объяснить, что метрика пропала... ну, скажем, во время поспешной эвакуации. Ничего не поделаешь, военное время».

«Я не об этом, — сказал мальчик. — Как же мы теперь поедем?»

«Ах, друг мой...» — шептал Ченцов, глядя не на собеседника, а скорее сквозь него; и почти невыносим был этот сухой, опасный блеск глаз, похожий на блеск слюды. В палате было сумрачно, на койках лежали, укрытые до подбородка, безликие люди, от всего, от белья, от тумбочек между кроватями, от полусидящего, тощего, подпёртого подушками Ченцова исходил тяжёлый запах. А снаружи был ослепительно яркий, голубой, звенящий птицами день, было уже почти лето, был май. Значит, думал подросток много лет спустя, когда он уже не был подростком, значит, должно было пройти ещё около двух месяцев. Как, однако, условны эти вехи. Повествование — враг памяти. Оно вытягивает её в нить, словно распускает вязку, и смотрите-ка, дивный узор исчез.

«Друг мой. Только вы меня понимаете».

Он повернул лицо в подушках — небритые щёки, острый нос, остро-бесцветные глаза, синие губы, полуоткрытый рот. Мальчик обернулся: в дверях дежурная сестра. Пора уходить.

«Ещё пять минут, — прошелестел больной, взглянув на сестру, — Марусенька... Что я хотел сказать. Мне надо немного окрепнуть. Обострение пройдёт. И мы с вами... о, мы с вами! — Он покосился на соседей. — Они не слышат...»

Поманил подростка пальцем.

«Я придумал другой выход, никаких справок вообще не нужно... Это хорошо, что ваша матушка ничего не заметила, лучше её не волновать... Мне нужно многое вам сказать, многое записать, чтобы не пропало. Я буду вам диктовать... Мою Historia arcana... У меня столько важных идей!»

«Друг мой единственный, ведь от этого я и болен. Оттого, что не могу больше здесь жить. Если бы я вернулся в Москву, всё слетело бы мгновенно. Я был бы здоров, уверяю вас! Человек — непредсказуемое существо. Он может болеть такой болезнью, о которой медицина не имеет представления. Это не туберкулёз и не абсцесс лёгкого. Это абсцесс души. Исцелить его может только воздух Москвы. Пройтись по этим тротуарам... От одной мысли можно с ума сойти».

Подросток брёл по коридору, в палате кашлял Ченцов, шелестел в ушах вечный голос, уже сколько лет он шепчет, говорит без умолку о том, что скоро кончится война и начнётся новая, невообразимо прекрасная жизнь, не такая, как до войны, нет, это только сейчас довоенная жизнь кажется идиллией, но об этом не будем, не надо об этом... Друг мой, мы ещё будем с вами вспоминать. Далеко отсюда, за стаканом хорошего вина. Будем вспоминать о том, как мы...

Скоро! Скоро! Никто не знает в точности, где идут бои. Но враг отступает. В такой же лучезарный день они сядут на теплоход. И ведь так и случилось, вернее, почти так, или, пожалуй, совсем не так; но не будем сейчас об этом. Это — будущее, ставшее настоящим, а затем и прошлым. Но пока что всё это в будущем. В такой же вот майский, звенящий, сияющий день они проедут вниз по великой реке мимо дальних зеленеющих берегов, мимо дебаркадеров, мимо низких белых стен татарского кремля, мимо башни царицы Сумбеки, которая бросилась вниз головой, чтобы не попасть в полон к русским. И дальше, дальше, до канала, до шлюзов, до Химкинского речного вокзала, и отец, весёлый, в распахнутом пальто, встретит их в порту. Он жив и вернулся целым и невредимым. «А я уж хотела идти за тобой», — сказала дежурная сестра Маруся Гизатуллина, маленькая, темноглазая и белолицая, должно

быть, такой же была ханша Сумбека в расшитой шапочке с покрывалом. «Нельзя так долго сидеть, — говорила она, шагая по коридору. — Ему вредно». — «Он поправится?» — спросил подросток. Она направилась в дежурную комнату. Выходя, она сказала: «А, ты всё ещё здесь. Пора ему укол делать. Подожди меня... Что ж, ты разве не заметил, — говорила Маруся, когда они снова шли вместе по коридору. — Это же такая палата».

Он спросил: «У него есть родные?»

«У него никого нет. И местожительства нет никакого, иначе давно бы выписали. Чего держать умирающего. А ты, я вижу, здорово вырос за это время!».

Там, где лыжи проваливались в снегу, на плоских холмах, где цепенели леса, бесшумно падали белые хлопья с отягощённых ветвей и время от времени что-то потрескивало, постанывало вдалеке, откуда съехал неведомый смельчак, оставив на крутизне двойной вертикальный след, там теперь всё заросло кустарником, там плещут папоротники, ноги топчут костянику, заячью капусту, лес уводит всё дальше. Посреди поляны стоит пожарная вышка, четыре столба, сколоченных наподобие пирамиды, с берёзовой лесенкой и площадкой на верхотуре. Сверху не видно уже ни берега, ни больницы, зелёная сплошная чаща, голубоватые верхушки, прова-

лы оврагов, и постепенно всё застилает сизо-лиловая пелена. Там начиналась Удмуртия, где обитали древние меднолицые люди в лисьих шапках, где, может быть, ещё длился век Ермака и Грозного.

«А-у!» Звук повторился совсем рядом. Выкликали его имя. Подросток вышел к малиннику. «Мы уж думали, тебя волки утащили», — смеясь, сказала Маруся Гизатуллина. «Здесь волков нет», — возразил он. «А в позапрошлом лето, тебя тогда ещё не было, — помнишь, Ньюра?»

Это звучало так, словно его считали младенцем. Так говорят: ты ещё пешком под стол ходил.

«Такой волчище стоял, прямо перед воротами».

Что-то он не помнит такого случая. Два года назад они с матерью были уже здесь. Ехали на нарах из неоструганных досок, в товарном вагоне, женщины устраивались, копошились, ссорились, качали младенцев, толстая тётка сидела, спустив голые ноги между головами у сидевших внизу, было жарко, состав подолгу стоял на узловых станциях, пропускающая встречные поезда. «Эй, бабоньки, куда путь держим?..» — кричали из эшелонов.

«И второй с ним, — сказала Маруся Гизатуллина, — волчица, наверно». — «Это были не волки», — сказала Аня, но теперь она снова звалась прежним именем Ньюра.

С какой независимостью, с каким величавым спокойствием он приблизился к ним, не моргнув

глазом взглянул на вышедшую из кустов Ньюру с лукошком. Надо сознаться, она стала ещё прекрасней, в сиреновом лёгком платье с белым воротничком и «кружавчиками» вокруг коротких рукавов-фонариков, в левый рукав засунут платочек, и на загорелых ногах лёгкие тапочки, — да, сказал он себе, он знает, что она здесь, и приближается к ней без волнения, потому что прошли эти томительно-безысходные зимние ночи, это ожидание на крыльце, всё прошло, он избавился от этой каторги и может спокойно смотреть на эту красоту. Конечно, она не могла не заметить его равнодушия, несомненно, её снедает тайная ревность. И он почувствовал гордость, тайное злорадство мужчины, который знает, что ради него цветёт эта красота; но удостоится ли она его внимания, это уж, извините, его дело.

«Ох, — сказала Маруся Гизатуллина, — умялась. Мы тут весь малинник обобрали. Пока ты там шастал». Два года назад было такое же лето. Высадились на пристани, шли, волоча свои чемоданы, оказались в физкультурном зале с большими окнами, с шведской стенкой и сдвинутыми в угол гимнастическими снарядами, прожили на полу недели две, пока всех не распахали по учреждениям; теперь-то он знал, как свои пять пальцев, и школу, и базар, где в те дни ещё толпился по воскресеньям народ; война ещё не чувствовалась в этих местах. Выпряженные лошади стояли вдоль коновязи с

мешками сена на мордах, на возах торговали луком, лесным орехом, молодой картошкой; марийки в узких расшитых шапочках под белыми платками, в зипунах, несмотря на жару, в новеньких лаптях и шерстяных чулках, продавали масло, обрызганные холодной водой, блестящие, как слоновою костью, шары на тёмнозелёных листьях лопуха. Мать пробовала масло кончиком ногтя. Ещё можно было обменивать на продукты городские вещи, шляпку с бантом, кружевную сорочку.

Было или не было, о чём говорит Маруся, — что волки подошли к больнице, да ещё в летнее время, — но он отлично помнит первый год, первое лето, помнит, как подошёл к реке, в это время они уже получили комнату в больничном посёлке; и стоило лишь подумать о реке, как тотчас воспоминание перенесло его, как на ковре-самолёте, через осень и зиму, — и опять этот солнечный день, и девушка, остриженная под ноль, среди визга и плеска, с круглыми белыми плечами и началом груди над водой. Как и прежде, он не мог связать этот образ с Нюрой. Река унесла его. И так же, как ни с того ни сего перед ним вновь мелькнул этот эпизод, в котором лишь задним числом можно было предположить что-то значащее для будущего, так многие годы спустя вспоминался пикник на поляне, разговор о волках, пожарная вышка, заросли малины, щедро уродившейся в тот год.

«Ох, умаялась; надо бы ещё разок придти, варенья наварим, чай будем пить. — Корзинки с похожими на шапочки тёмнорозовыми ягодами стояли в холодке под деревом. Маруся Гизатуллина раскладывала харчи на старой больничной простыне, ставляла стаканы, явилась бутылка с водой, заткнутая бумажной пробкой, и пузатая бутылочка. — А вот почему говорят: малиновый звон, когда почта едет, все говорят — малиновый?»

«Красивый, значит. Как малина», — сказала Нюра.

Подросток объяснил, что название происходит от города, где раньше отливали колокольчики.

«Ты у нас учёный. Всё знаешь. А мы с Анютой тёмные, да, Нюра?»

И всё-таки было что-то обидное в том, что она цвела, несмотря на то, что они расстались, очевидно, ждала кого-то другого, — кого же? — и сердце подростка царапнула ревность. словно мимо него по солнечной глади проплывал и медленно удалялся нарядный белый корабль, а он остался стоять на берегу.

«Ты записочек мне не пиши. Фотографий своих не раздаривай. Кто со мной выпьет? — Маруся налила больничный спирт в два стакана и развела водой. — Вот Нюра меня поддержит. Да чего ты... самую чутельку. Голубые глаза хороши, только мне полюбились карие!»

«А ты как, попробуешь?» — спросила она.

«Да брось ты, — сказала Нюра. — Ребёнка спаивать».

«Какой он ребёнок. Скоро усы вырастут. Полюбили любовью такой...»

Нюра — хриловатым голоском:

«Что вовек никогда не случается!»

Маруся Гизатуллина:

«Вот вернётся он с фронта домой. И па-а-ад вечер со мной повстречается».

Выпив спирт, она задумалась. Нюра, сделав глоток, оставила стакан, потянулась к корзинке, — её грудь слегка колыхнулась, — и положила в рот ягоду. «Ты зажми нос, — сказала Маруся Гизатуллина, — и одним махом, раз!» Подросток громко и часто задышал открытым ртом. Маруся проворно сунула ему в рот малину. «Люблю мужчин с усами. Вот мой вернётся, я ему велю, чтобы непременно отрастил... На-ка вот ещё закуси».

«Это что весной приезжал?» — спросила Нюра рассеянно.

Маруся помотала головой. «Это так... знакомый. Да ну его. Не хочу о нём говорить. А тебя об одном попрошу...»

«Понапрасну меня не испытывай...»

И незаметно всё изменилось. Как там дальше? Я на свадьбу тебя приглашу. Мальчик знал эту песню наизусть, он запомнил все песни, которые пела за

стеной Маруся Гизатуллина, никогда не входил в их комнату, но знал, что Маруся сидит на кровати, поджав ноги в шерстяных носках, и вышивает. Вся комната убрана её вышивками. А на узенькой раскладушке, на том месте, где когда-то лежала остриженная голова Нюры, когда Нюра заразилась тифом, — но тогда у неё вообще не было имени, — теперь спала мать Маруси, сморщенная бледная старушонка, всегда ходившая в одном и том же белом ситцевом платице с оборками, в вязаных чулках и носках, в белом платке, который в этом краю носили не уголком на спине, а широким прямоугольником до половины спины, из-под платка свисал чёрный хвостик косички. Она пела другие песни, тонюсеньким голоском на своём языке.

«Я на свадьбу тебя приглашу. А на большее ты не рассчитывай», — пела Маруся

Всё вокруг изменилось; он не был пьян, а если и опьянел, то лишь на одну минуту: брызнуло струйкой в мозг, и вселенная пошатнулась, но тотчас же мы овладели собой, мы были, что называется, в полном ажуре, зато мир вокруг стал другим, приобрёл другое значение, как бывает во сне; мир проникся ожиданием. «Могу и пройтись, пожалуйста», — смеясь, сказал подросток, вскочил и замаршировал по поляне. Стало припекать. Нюра в сиреновом платье сидела, сложив руки на вытянутых загорелых ногах, и смотрела на него или, может быть,

сквозь него, и от этого взгляда его охватила беспричинная радость, в этом взгляде было неясное обещание; темноокая Маруся Гизатуллина, на которой теперь были только чёрные трусики и бюстгальтер, белая и худенькая, с впалым животом, приподнявшись на локтях, так что обозначились ямки над ключицами, следила за ним насмешливо-испытующим взором; он плюхнулся на траву.

«Давай, давай, для здоровья полезно. Так и просидишь в комнате всё лето... Худющий, как Кашей, — приговарила Маруся, стаскивая с него рубашку. — И брюки; нечего стесняться. Господи, в чём душа только держится». Подросток улёгся на живот. «А ты что сидишь? — сказала она. Снимай, он не смотрит. Да если посмотрит, тоже не беда. Я загорать буду, а вы как хотите», — сказала Маруся. Подросток перевернулся на спину и увидел верхушки деревьев в ослепительной лазури. Всё пело, всё смеялось.

Лёжа он старался глазами остановить медленно плывущее небо. Женская рука коснулась его руки, голос Маруси Гизатуллиной спросил: «Спишь?» Не сплю, хотел он ответить и вдруг подумал, что пока он так лежал, потеряв чувство времени и, может быть, в самом деле провалившись в сон на одну минуту, Нюра незаметно покинула их, очевидно, ей было неинтересно с ними; белый и нарядный, изукрашенный флагами пароход уплыл, а они здесь ос-

тались. В тревоге он открыл глаза и, повернув голову, увидел, что она лежит рядом, увидел её руку, заложённую под голову, рыжеватые волосы под мышкой и высокий холм под белым лифчиком. Всё ещё сон, думал он, а на самом деле она ушла. Маруся Гизатуллина склонилась над ним, он увидел близко перед глазами её маленькие татарские груди с чёрными почками сосков. «Мужичок, — пропела она, — спишь?» Не знаю, может, и сплю, подумал подросток. Он глядел на Марусю сквозь ресницы. А ты, а вы? Она тоже спит, ответила Маруся Гизатуллина, жарко-то как стало, это к грозе. Мы все спим и снимся друг другу, добавила она. Да не съем я тебя, не бойся. Но он не дослышал, что она говорила, в эту минуту он окончательно пробудился, услышал лёгкое посапывание и увидел, что обе женщины спят.

Лето в разгаре, и, как всегда в это время года, враг пытается сызнова перейти в наступление. Семь ночей и дней продолжается танковое сражение вдоль дугообразной, как излучина, линии фронта вокруг Курска. План — ударить одновременно с севера и юга; командующий фронтом знал, что если план провалится, ему не миновать разжалования и расстрела. План удался; армейская группа «Центр» потеряла тридцать восемь дивизий; сколько потерял Рокоссовский, никто не знает. В этой войне полководцы имели дело с двойным сопротивлением: огневой мощью противника и некомпетентным само-

властием вождей. Война перевалила за вторую половину. Война катилась назад, на Украину и в Белоруссию. Армия шла вперёд, оставляя широкий кровавый след. От генерала до солдата все знали, во имя чего идёт война. Сильной стороной московского вождя была подозрительность. Этот дар усилился. Сильной стороной германского фюрера была способность импровизации. Этот дар угас. В густых лесах Восточной Пруссии, в главной квартире, фюрер с застывшим взглядом, с лицом, напоминавшим маску, объявил, что народ окажется недостоин своего фюрера, если война будет проиграна. Вождь в Москве объявил: и на нашей улице будет праздник. В селе, о котором теперь никто не помнит, партизаны застрелили старуху и двух других, подозреваемых в связях с врагом, забрали тёлку, поросят и ушли. Поп отслужил панихиду по убитым. Поп сидел в огороде, когда прибежала девчонка сказать, что немцы явились, чтобы сжечь село. Два бронетранспортёра выехали из леса. Священник облачился в церкви и, красный от волнения, с непокрытой головой, с большим золочёным крестом в руках вышел за околицу, надеясь остановить карателей. Он был скошен автоматной очередью. Лето в разгаре, давно освобождены калмыцкие степи. Некто Иван Бадмаев, стрелок-радист, сбитый в воздушном бою к югу от Сталинграда, остался в живых и получил боевую награду. Ему было 18 лет. Триста лет тому назад его

предки перекочевали в низовья Волги. Этого делать не следовало. Если бы они оставались в Монголии, ничего бы не произошло. В госпитале, где Ивану Бадмаеву ампутировали ногу, было велено явиться утром на вокзал. Площадь перед вокзалом была оцеплена войсками. Бадмаева вместе с костылями затолкали в вагон. Сто тысяч степных жителей были посажены в товарные вагоны и отправлены на восток, доехала половина.

Пришла осень, и жизнь изменилась. Вечером чёрная коза по имени Лена, не пришла к крыльцу, её разыскали на другой день, она скатилась в овраг, простояла всю ночь по брюхо в глине и равнодушно смотрела на людей, пытавшихся к ней подобраться. Лену внесли на кухню. С глазами как олово, медленно моргая тёмными ресницами, она лежала на соломе, у неё отнялись ноги, пропало молоко, подросток, сидя на корточках, кормил её листьями почерневшей капусты. И было что-то в этом эпизоде, который всё же по счастью закончился благополучно, что предвещало новые беды. Лили дожди. В кромешной тьме (он перешёл в следующий класс, ходил теперь во вторую смену), подросток, сбившись с пути, увяз в трясине, упал и, весь перепачканный, потеряв галоши, добрёл кое-как до больницы. Поздним, чёрным вечером он вышел однажды из комнаты, чувство надлома, близкой опасности не давало ему покоя; бич судьбы уже посвистывал над

ним; это чувство сидело во внутренних органах, в тёмной глубине тела; много лет спустя ему пришло в голову, что судьба есть на самом деле не что иное, как упорядочивающее начало, которое мы вносим задним числом в расплывающиеся клочья существования, бессознательный механизм, задача которого — сохранить единственность и единство нашего «я».

Всё неспроста, всё оказывается неслучайным; всё тянет в одну сторону: дождь, и ночь, и одиночество; слабый, стонущий скрип двери за его спиной, тень, перешагнувшая через порог. Он стоит на крыльце, вздрагивая от озноба, а вокруг всё струится и чмокает. Тень выходит из сеней на крыльцо, долго, сладко зевает, кутается в платок. «Ты чего не ложишься?»

Нелепый вопрос, ведь ещё не было и десяти часов. «Прошлую ночь совсем не спала, — сказала Маруся Гизатуллина, — сперва с припадочной возились, а потом ещё этого привезли». — «Кого?» — спросил он скорее из вежливости, весь посёлок говорил наутро об этом человеке, который выстрелил себе в сердце из охотничьей двустволки; одни рассказывали, что он был дезертиром, жил у любовницы в дальней деревне, прятался на сеновале, потом осмелел, стал приставать к хозяйкиной дочке, она на него донесла; другие — что дочка эта была его собственной дочерью и жил он с обеими. Милиционер в лаптях, в шинели с новенькими погонами, ко-

торых здесь ещё никто не видел, привёз самоубийцу, вышел покурить на крыльцо общего отделения, да так и не успел его допросить.

«Чего ж допрашивать, и так всё ясно. А вот её, наверно, посадят».

Мальчик спросил, глядя в мокрую тьму: за что?

«За укрывательство. Вот любовь-то к чему приводит», — заметила Маруся. Сама того не ведая, она высказала мысль, которая четверть века спустя стала тайной жалобой женщин: мысль эта была не что иное, как ностальгия по великому мифу любви.

Он был жив, этот миф, до тех пор, пока общество воздвигало перед ним препоны. Великая и самоотверженная страсть чахнет, не наталкиваясь на осуждение окружающих, на мораль общества и беспощадность закона. В новом обществе для свободной любви уже нет препятствий. Не осталось и времени на сердечные дела, и приходится обходиться голой «сутью». Прошлое, о котором вспоминал подросток, когда он давно уже не был подростком, было не то прошлое, которое тащится, словно пыльный хвост, следом за «настоящим». Наоборот, настоящее есть не более чем его отзвук.

«Простудишься. Ну и погодка». Он молчал, смотрел во тьму. «Её ждёшь?.. Не бойсь, никому не скажу. Я ведь всё знаю», — добавила она. Он спросил: «Что ты знаешь?» — «Всё знаю. И всё понимаю. Сама мучилась, когда любила». Он молчал, остолбенев. «Хо-

чешь сказать, что больше её не любишь? Чего ж тогда стоишь — небось весь окоченел. Спать пора, — сказала Маруся Гизатуллина, — пошли домой».

Неужели, думал подросток, Нюра ей всё рассказала. Он вспомнил о письме, теперь уже таком далёком, и ему стало стыдно. Тайна его сердца была выставлена напоказ. Они читали вместе и смеялись. Сколько там было нелепых, выпренних выражений. Он не знал, что женщины иногда берегут такие письма. Вернувшись в комнату, продрогший до костей, он думал о том, что с наслаждением порвал бы это письмо в мелкие клочки, если бы оно сохранилось; в конце концов он мог бы потребовать его назад, мог набраться смелости напомнить о нём. А ему бы ответили: какое письмо? Да я его давно выбросила. Через много лет он представил себе, что каким-то невероятным образом увиделся снова с Нюрой — и спросил: получила ли она тогда его послание? Чем больше он об этом думал, тем ясней становилось — нет, она не получила. Чем настойчивей он вспоминал, тем очевиднее было, что да, получила. Когда Нюра постучалась в его дверь, придумав какой-то предлог, разве это не было доказательством, что письмо получено? Но теперь, через много лет, чего доброго, оказалось бы, что она ничего не помнит! Была война, больница, это она помнила; какие-то люди приехали в эвакуацию.

18. Некая женщина

Что стало с Нюрой? Он попытается представить себе. Придумать — что в общем не представляло труда с его даром фотографического воображения — эту Анну Федосьевну или как там она звалась по имени-отчеству, и представить, как она существовала всё это время. Наверняка это была ничем не примечательная, тягостно-бесцветная, тусклая жизнь в глухой российской провинции. Этот климат всё обесцвечивает. Память старой, изглоданной жизнью женщины в сравнении с памятью того, кто когда-то сидел за столом с коптилкой и заклеивал самодельный конверт протёртой сквозь марлю варёной картошкой, была бы всё равно что мутно-жёлтая фотография, на которой с трудом удаётся различить чьё-то лицо, рядом с только что проявленным, чётким и влажным снимком.

Бессмысленное занятие: образ, реконструированный таким манером, образ сегодняшней, не имеет ничего общего с тем подлинным, который мгновенно ожил, едва лишь подросток прикрыл за собою дверь в комнату, где всё так же изнемогал на столе жёлто-голубоватый огонёк. Нюра, в пальто, наброшенном на плечи, в шерстяном платке, в белом платье с прямым вырезом, отороченным дешёвыми кружевами, которое на самом деле было не платьем, а ночной рубашкой. Светлые волосы с ис-

крами инея. Должно быть, она уже легла, но что-то её томило, любопытство или Бог знает что, бес подмывал. Она попросила что-нибудь почитать и забыла об этом, поинтересовалась, что он пишет в тетрадке, вероятно, тотчас узнав бумагу, на которой написано было письмо. Он спросил, — чтобы что-нибудь сказать, — из какого металла кольцо на её пальце, и тотчас кольцо сделалось необыкновенно важным, как всё, как огонь на столе и его дневник, прядь волос, которую она смахнула со лба, как её грудь; она сняла кольцо, постепенно сдвигая его, это далось ей не без усилий, он попробовал надеть его себе на указательный палец, оба рассмеялись. Он пытается представить себе, что с ней стало, но видит только ту, какой она была. И ему кажется, теперь, через много лет, смехотворным открытие учёных психологов, будто отсутствие мужского органа, щель на месте, где он должен был находиться, рождает у женщины чувство неполноценности, будто может существовать какая-то зависть; странная, в самом деле, теория! По крайней мере, в те времена, если бы он услышал о ней, она показалась бы ему абсурдной. Жалеть о том, чего нет! Наоборот, тёмное чувство говорило ему о несчастье быть подростком, о проклятии пола, который делает его неловким, неуверенным, одержимым боязнью, что об этом узнают, проклятия, которое мешает жить. Между тем как девушка, лёгкая и свободная, без тёмных помыслов,

без тягостных снов, не стыдясь за себя, проходит мимо с независимостью царевны, избавленная от этого позора, и соблазна, и страха оскпления. Для него пол был новостью и скандалом, а для них всех чем-то таким, что разумелось само собой. Он чувствовал, что для девушки, у которой там ничего нет, быть такой, какова она есть, значит просто быть, что она живёт в согласии с миром, что она часть природы, сам же себя представлял подчас чуть ли не выродком.

Он услышал в темноте за спиной: «Посижу у тебя маленько, ты не против?..» — пожал плечами, уселся на своё место у окна и прибавил огня. «Хорошо, тепло, — сказала она и поправила платок на плечах. — Что же ты, так поздно, — всё ещё уроки делаешь?» — «А сколько сейчас времени?» — спросил подросток. И разговор иссяк, в заплаканном окне маячил его двойник, отражался тусклый светоч и в глубине, бледным пятном — лик Маруси Гизатуллиной. Он ждал, когда она уйдёт. «Завтра на работу, — проговорила она, — я теперь дежурю через день. Что за жизнь... А ты небось всё думаешь о ней?» — «О ком это я думаю, ни о ком я не думаю», — проворчал подросток, вдруг стало ясно, что Маруся ничего не знает и «она», «о ней» — попросту ничего не значащие слова. Или всё-таки знает?.. «Как это ни о ком, — продолжала она, смеясь, — зна-

чит, ты уже её позабыл, вот и верь после этого мужчинам. А небось клялся в вечной любви».

Подросток метнул на неё взгляд исподлобья, игривое выражение исчезло на лице у Маруси.

«Ну, не серчай, у бабы язык — сам знаешь... Я что хотела сказать... — Она уставилась на огонёк коптилки. — Вот дура, забыла, что хотела сказать. — Опустила глаза. — Спать пора... Ты в какую смену ходишь, в утреннюю или днём? А это что у тебя, сочинение? Ты в каком классе, в восьмом? Или уже в девятом?» И так как он по-прежнему не отвечал, она сказала: «Ты только не подумай, что я над тобой смеялась. Я ведь знаю, как это бывает». Он взял ручку, ворошил что-то в чашечке горелки.

«Мне цыганка нагадала, — сказала Маруся Гизатулина, — ты веришь цыганкам? А я верю».

Он спросил, подцепив пером обугленные останки: что же она ей нагадала?

«Ещё в Мамадыше, я сама из деревни, в Мамадыше семилетку кончала. Такая была шелапутная, совсем учиться не хотела... Курсы окончила, думала, на фронт попрошусь, а тут похоронка пришла, папу убили сразу, в первую неделю, нет, думаю, хватит вам одного, вот так мы с мамашей здесь и очутились. Что ж я хотела рассказать-то... Да, цыганка раз ко мне подошла, уже старая, хочешь, говорит, девушка, я тебе открою, что тебя в жизни ждёт. Ничего с тебя не возьму, что подарить, на том и спасибо,

только ты, говорит, не старайся сердце от меня скрыть, откройся сердцем... Ты, говорит, много будешь грешить. А жизни тебе будет ровно тридцать лет. — Она помолчала. — Я ей брошку подарила... Зачем это я рассказываю, голову тебе дурю?».

Он спросил, как гадают на картах.

«Шайтан его знает, меня учили, да я всё равно не умею. Надо сперва карту выбрать, вот ты, к примеру, будешь крестовый король».

«А не валет?»

«Какой ты валет — ты уже взрослый. Проживёшь, говорит, на свете тридцать лет. А до той поры можешь веселиться, всё тебе будет прощено. Вот я и веселюсь», — сказала она печально.

Подросток поднёс перо к огню, он не мог понять ни себя, ни её, не знал, куда клонит ночная гостья, если она вообще куда-то клонила, а не просто коротала с ним бесконечную ночь. Он скосил глаза на Марусю Гизатуллину, она сидела, сложив руки на коленях, и воистину понадобились годы, чтобы понять, что означал её взгляд, устремлённый вовсе не на него, а в себя, понять ту, которая сидела перед ним на месте, где сидела Нюра, и скорее задумалась, чем задумала что-то. Словом, надо было долго учиться умению видеть людей такими, каковы они сами по себе; но подросток не умел освоиться и в собственной душе.

19. Инициация

«Может, пройдемся немного, дождь перестал», — сказала она полувопросительно. И вот, словно не было всех этих лет, словно всё ещё шаришь в темноте: в кухне висят на гвоздях армяки, куцавейки; изодранный, ставший общей собственностью тулупчик, «вот его и надену, — пробормотала Маруся, — мы недолго, пробежимся туда-сюда...» Оба, крадучись, вышли в сырую свежесть ночи. Всё ещё капало на крыльце, и капало с крыш, дул ветер, серые, как дым, облака неслись по небу, и в просветах, в чёрной синеве, сверкали, как ртуть, звёзды. Побрели мимо конюшни к воротам, маленькая женщина уцепилась за руку подростка.

«Одна бы ни за что не пошла, вот дойдём дотуда, и назад». Он спросил, чего она боится. «А всего. Сама не пойму; то, бывает, такая храбрая, что всё могу, на всё решусь. И никто меня не остановит. А то вдруг каждого куста боюсь. Кто его знает, может, правду говорят, что ночью покойники бродят. Да я однажды сама видела. Иду по дороге, летом, ночь светлая, лунная. Вдруг вижу, стоит... И точно: мертвец; весь в белом. Меня поджидает. Ну их, лучше не говорить. А то ещё впрямь кто появится. Ты держи меня крепче, — сказала она, смеясь, — поскользнусь, да и повалимся вместе». И они дошли до того места, где дорога из больничного посёлка соединялась с

трактом, постояв, повернули назад. «Бр-р, к утру подморозит, это точно, — говорила, разматывая платок, Маруся Гизатуллина, — ну что же ты, согрей девушку...» Она подошла к столу. «А это нам не нужно, это мы сейчас потушим». Дунула, и острый запах керосина провеял по комнате.

Чувство целокупного времени, похожего на прибой, на стоячую волну, на зыблющиеся воды. И оно тоже пришло с годами. Миг, за который чуть было не пришлось расплатиться жизнью, в накаты- вающем прибое всеединого времени, этот миг ост- ался таким, каким случился тогда; был ли он точ- кой просветления, моментом истины — или стал им спустя много лет? Вечный вопрос.

«Чего уж тут, раздевайся, что ли; всё равно спать ложиться.... Ну? Не съем же я тебя».

Сказано было так просто, что он подумал, ниче- го такого вовсе и нет, просто она устала, хочет спать, и ей холодно.

Отблеск звёзд, смутно-свинцовый свет из окна, казавшегося огромным, лунноликий призрак на его кровати, с провалами блестящих глаз. Что-то она там перебирала вокруг себя, стряхивала и расправ- ляла, сидя, повернувшись, взбила подушку, и просто и естественно, как у себя дома, скрестив руки на бёдрах, взявшись за платье и что там ещё было, од- ним движением сняла всё сразу через голову, встряхнула чёрными волосами и подняла тонкие

руки к затылку, чтобы собрать волосы. Что там произнесли её губы, может быть, не по-русски, было невозможно вспомнить, остался голос, приглушённый, почти воркующий, уговаривающий, осталось чувство жгучего стыда; и много лет спустя эта ночная сцена предстала как в замедленной съёмке, прокручивалась вновь и вновь. Тебе ведь всё равно пора ложиться, говорила Маруся Гизатуллина, только эти слова и запомнились, в нашей деревне да-а-вно-о-о уже спят, почти пропела она и, справившись с одеждой, не зная, куда её деть, сложила у себя на коленях, встряхнула головой, подняла к затылку белеющие в сумраке руки с тёмными впадинами подмышек, и одновременно слегка поднялись тёмные кружки её груди. «В нашей деревне, а-а...х», — и она потянулась, точно в самом деле собралась лечь и уснуть.

«Ну чего ты оробел. Полежим, и всё».

«Я не оробел», — сказал он мрачно.

Оба едва успели придти в себя, когда странный звук, невозможный звук раздался в кухне, жалобный стон петель и осадистый вздох вернувшейся в пазы двери. Подросток перекатился на бок. Всё стихло. В полутьме отворилась дверь в комнату, и вошёл призрак. Мать подошла к столу. Чиркнула спичка. Язычок коптилки взвился и осел, мать подростка прикрутила фитиль. Мальчик лежал спиной к женщине, на краю кровати. Он поднял голову. Но

мать смотрела не на него. «Вылезай», — сказала она. Там не пошевелились.

«Вылезай, — повторила мать подростка. — Так я и знала...»

Она наклонилась, подняла с пола то, что там лежало, и швырнула на кровать. Из-под одеяла показалась чёрная растрёпанная голова Маруси Гизатуллиной.

«Развратная проститутка, — сказала мать подростка, — я просто глазам своим не верю».

Маруся голой рукой, придерживая одеяло, нашла рубашку в ворохе одежды и, кое-как просунув голову и руки, напялила на себя.

«Чего ругаетесь-то...» — пробормотала она.

«Да я слов не нахожу!»

«А чего такого...»

«Чего такого! Ах ты бесстыдница. А ты знаешь, как это называется, а?.. Это называется растление малолетних! Нет, я это так не оставлю. Все знают, кто ты такая...»

«А кто я такая?» — спросила Маруся.

«Все знают! Нет, я так не оставлю. Я на тебя напишу!»

«Ну и пишите, — осмелев, надменно возразила Маруся. — Какой он малолетний? Он мужчина. Я его люблю».

«Люблю... Ха-ха. Насмешила. Развратная тварь! Я тебе ещё покажу, ты меня будешь помнить. Госпо-

ди, Гос-по-ди!» — повторяла мать подростка, стискивая руки, между тем как Маруся, прижимая к груди ком одежды, другой рукой подхватив полусапожки, пропала из комнаты.

«Ну вот, — тоскливо сказала мать, кивая головой, подняв глаза на подростка. — Что значит нет отца... А я, как проклятая, день и ночь на работе... Чтоб его сберечь, чтоб его накормить... Что же нам теперь делать?» И это был вопрос, который, как ночной гость, не уходил, сидел на кровати, после того как исчезла Маруся Гизатуллина, после того как дверь на кухне захлопнулась за матерью, она прибежала с дежурства. Что же теперь делать, повторял подросток, тупо глядя перед собой, он медленно повернул голову, дверь в комнату отворилась, там стояла Маруся, он ничего не сказал, дверь закрылась, он смотрел в пол, в одну точку.

Каждая эпоха оставляет свою археологию запретов, подобных надписям на неизвестном языке; их можно расшифровать, но их истинный смысл остаётся загадкой, ибо они составлены с помощью иносказаний. Вся область их применения окутана тайной. Таков обычай сверхдобродетельной эпохи. Но, добившись права произносить вслух то, что прежде лишь подразумевалось, наивно было бы думать, что мы вовсе отказались от умолчаний: кажется, что умолчания возникают сами собой, словно они часть нашей природы. Или словно они охраня-

ют некий клад. Ну и что, сказал бы сегодняшний сверстник, что тут такого. А вот то-то и оно (думал подросток много лет спустя), совсем не просто решить, как повёл бы себя этот сверстник, со всем своим свободомыслием, окажись он на моём месте.

Мать успела застать его утром, когда он запихивал учебники в портфель, разве вы снова занимаетесь в первую смену, спросила она, подросток не ответил. Хорошо, я всё понимаю, вздохнув, сказала мать, то есть я ничего не понимаю, но чаю выпить хотя бы можно?.. Он вышел из дому. Дорога слегка подмёрзла, в воздухе кружились редкие снежинки, он миновал место, до которого ночью они дошли с Марусей Гизатуллиной, немного погодя, шагая по тракту, обернулся и увидел, что больница растворилась в тумане. Тогда он сошёл с дороги и двинулся через поле к холмам. Пожухлый дёрн проваливался и хлюпал у него под ногами. Всколебавшись по скользкому склону, весь мокрый от холодной росы, сыплющейся с кустов, он вступил в лес. Его ученический портфель валялся между опорами пожарной вышки, подросток стоял наверху, на смотровой площадке. Туман становился всё гуще, исчезли леса, вокруг был серый, непрозрачный океан. Может быть, к полудню проглянет солнце. Может быть, через несколько дней он почувствовал бы желание вновь повидаться с горячей и жадной, словно зверёк, маленькой женщиной. Сейчас он не мог вспом-

нить о ней, о себе без стыда и отвращения. Он был загажен с головы до ног, от мысли о том, что произошло ночью, у него вырвался стон, — сейчас, когда он стоял, вцепившись в сырой дощатый барьер, в промокших ботинках, с лицом, залитым злыми слезами. Всё пропиталось горечью, горечь капала с веток. Всё оказалось так омерзительно-просто. Он усиленно моргал, его веки слиплись, надо было что-то предпринять. Что-нибудь сделать. Бежать! Или, может быть, изувечить себя. Злорадная, сладострастная мысль, взять всё в руку — и ножом р-раз. Несколько успокоившись, он поднял голову, выпрямился, он набрёл на другой выход. Он сам не заметил, как выбрался их лесу, спустился с холма возле самой больницы, заглянул домой, зная, что матери нет дома, запасся необходимым; оглядевшись, вышел на крыльцо. Он действовал с безупречной точностью и всё время думал об одном. Несколько мгновений спустя он вошёл, озираясь, в конюшню. Было слышно, как кто-то стучал и скрёб копытом по деревянному полу. Старая, серая в яблоках одноглазая лошадь по кличке Пионерка стояла, понурившись, за загородкой, он прошагал мимо неё, мимо второй рабочей лошади, за ними, в стойле почище, беспокоилась молодая пегая кобыла Комсомолка, на которой выезжал главврач. Каморка конюха находилась в конце прохода. Он постучался.

Узкий подоконник был заставлен иссохшими цветами в консервных банках, в углу и под самодельным столом помещались старые картонные коробки с имуществом хозяина. Сам Марсуля лежал на топчане, в картузе и грязных сапогах, накрывшись армяком, под портретом маршала Пилсудского. Мальчик расцепил крючки у ворота, отстегнул пуговицы пальто, которое стало совсем коротким.

«Дзень добжий», — прохрипел Марсуля.

Мальчик стоял, опустив торчащие из узких рукавов руки.

«Что пан желает мне сказать?»

Гость вытащил из портфеля приношение.

«Так, — сказал Марсуля. — И что же?»

Мальчик выдавил из себя что-то. Хозяин осклабился, подложил руку под голову.

«Nie rozumem», — сказал он внушительно.

Кашлянув, подросток повторил свою просьбу.

«Nie rozumem. Ты хочешь меня подкупить или что ты хочешь?»

Подросток пожал плечами.

«Нет, ты говори прямо. Ты пришёл меня подкупить. Я не возражаю».

Марсуля спустил сапоги со своего ложа и указал гостю на полку с утварью. Подросток достал с полки мутный гранёный стакан. Марсуля молча показал два пальца. Подросток поставил на стол второй стакан и жестяной чайник.

Марсуля развёл спирт водой из чайника, разболтал, стащил картуз с лысой головы, посмотрел питьё на свет и, нахмурившись, с суровым видом провозгласил:

«Na zdrowie!»

Мальчик не стал пить. За стеной был слышен конский храп, стук копытом. Хозяин отдувался, хрустел солёным огурцом.

«Скоро, — сказал он сильным голосом и погрозил пальцем. — Скоро протрубят труба. — Он приставил ладонь ко рту. — Ту-ру, руру! Тебе понятно?»

Понятно, сказал подросток. Марсуля качал головой.

«Не думаю, что было понятно. Но ты увидишь. Все увидят. Когда придёт день, и Марцули больше здесь не будет. Генерал Андерс собирает армию в поход. Кто такой генерал Андерс, знаешь? Мы им всем покажем. Мы и вам покажем», — сказал он, подмигнув.

«Кому это, нам?»

«Вам всем».

Хозяин каморки обозрел своё жильё и прислушался к перестуку копыт. «Я вообще никакой не Марцуля, если пану угодно знать. Это я только здесь Марцуля... Я жду приказа, — он понизил голос. — Теперь тебе ясно, зачем у меня этот przedmiot?»

Он перелил спирт из стакана гостя в свой стакан.

«Na zdrowie».

Опрокинул в рот. Огурцом: хрясь!

«Я так думаю, что это будет слишком опасно. Не одного меня, и тебя могут заарештовать, если увидят. А ты ещё молодой. А вот ты мне скажи, ты откуда знаешь?»

Подросток что-то пробормотал. Марсуля покачал головой.

«Нет, скажи. Откуда узнал, что у меня это есть?»

«Ты сам говорил».

«Я?.. тебе говорил, про этот...? Что-то не помню. Клянись!»

Подросток поклялся, что никто не узнает.

«С другой стороны, ты меня подкупил, — рассуждал Марсуля. — Я человек честный. Я выпил спиритус, значит, должен выполнять. Иначе будет нечестно. И я даже не знаю, умеешь ты с ним обращаться?»

«У нас в школе...» Мальчик хотел сказать, что в школе проходят военное дело. Самозарядная винтовка Токарева образца 1942 года. Затвор служит для досылания патрона в патронник, для плотного запираения канала ствола, для производства выстрела, для выбрасывания стрелянной гильзы! После уроков, строим, по улицам села. «За-певай!» Краснармеец был герой. На разведке боевой. Да эх! Э-эх, герой. Он сидит у подножья пожарной вышки, на

поляне, прислонясь к врытой в землю опоре, и осматривает «пшедмёт», крутит большим пальцем барабан, заглядывает в дуло. У него в запасе три патрона. Он отводит предохранитель, закрыв один глаз, открыв рот, целится в толстую ель. Рот всегда в таких случаях нужно держать открытым. Страшный гром потрясает лес и катится вдаль. Отлетела гильза, барабан мгновенно повернулся, наготове следующая пуля, отлично. Оружие функционирует как полагается. Подростка страшит боль, особенно если стрелять в висок. Кроме того, бывают случаи, когда человек остаётся жив. В живот, чтобы пробить аорту... о, нет. Ему приходит в голову, что лучше всего это сделать на берегу, тело упадёт в воду, и его унесут волны. На разведку он ходил, всё начальству доносил, да эх. Он подходит к реке, поглядывая по сторонам, тёмносерые, тусклые воды влекутся на всём огромном пространстве под небом туч, далеко впереди, почти вровень с водой узкой полоской чернеет другой берег, мальчик выпрастывается из пальто, бросает рядом шапку, озираясь, усаживается на песок, разувается, ему холодно. Скорей, больше некогда рассуждать, он и так потерял уйму времени. Слишком медленные приготовления ослабляют волю. Едва успев войти в ледяную воду, стуча зубами, он прижимает холодное дуло к груди, к тому месту, где должно находиться сердце, нажимает на курок, и — никакого результата. Он осматривает револьвер.

Барабан повернулся, патрон стоит на выходе напротив ударника с бойком, ничего другого нельзя предположить, как только то, что оружие дало осечку. Такие дела в суматохе не делаются. Спешка унижает достоинство человека. Со стволом, прижатым к груди, преодолевая дрожь в руке, сжимающей рукоятку, вскинув голову, он смотрит вдаль, на кромку берега, на низко стелющееся, серо-жемчужное, холодное небо. После чего проходит неопределённое время, а лучше сказать, время исчезает.

Дневник, начало большой поэмы и что там ещё, запихнуто в портфель. Мать хлопчет вокруг чемоданов. Марсуля, необыкновенно серьёзный, выпивший, в низко надвинутом картузе грузит вещи на телегу. Старая Пионерка моргает единственным глазом, второй глаз, вытекший, слипшийся, зарос седыми ресницами. Их никто не провожает. Темнеет, когда они подъезжают к пристани. Двухпалубный теплоход, очень большой вблизи, скудно освещённый, грузно покачивается у дебаркадера, трутся резиновые покрышки, очередь, давка, трап трещит и качается под ногами, на нижней палубе не протолкнуться. Они стоят в проходе, мать пересчитывает пальцем вещи. Медленно отодвигается, отступает, сливается с темнотой пристань. Сколько ночей и дней предстоит ещё ехать, пока вдали, на солнечном разливе, не покажется высокая, узкая, украшенная звездой башенка речного вокзала — Химки, Москва.

20. В плену у отечества

Процесс литературного самоосвобождения завершился избавлением от России.

Так-то вот. Есть нечто порабощающее в стране, за тысячу лет своей истории не знавшей свободы.

Россия не отпускает. Россия вперяет в тебя свой гипнотизирующий взгляд, велит стоять перед ней навтыжку и настаивает на том, чтобы сочинитель сдался с головой, дал себя поработить, посвятил себя только ей, только её особой судьбе, её бедами и победами, словно на ней единственной свет клином сошёлся.

Памятен мне я и ныне полузабытый, увы, поэт, бежавший отсюда прочь, чтобы найти последний приют в песчаной земле Израиля:

Над нами небо — голубым горбом,
За нами память — соляным столбом,
Горит, объятый пламенем, Содом,
Наш нелюбимый, наш родимый дом.
(Илья Рубин)

Покойному Илюше вторит другой голос;
Отвяжись, я тебя умоляю!
Вечер страшен, гул жизни затих.
Я беспомощен. Я умираю
от слепых наплываний твоих...

(Набоков)

21. Высшее единство мира

Перечитывая «Стенографию конца века» моего друга Марка Сергеевича Харитоновна, я набрёл на то место, где говорится о том, что любовь — единственная доступная почти каждому возможность приобщиться к высшему единству мира. Примем это к сведению.

22. Еще один сон

(конфисковано при обыске)

Действие происходит в спецкорпусе славной Бутырской тюрьмы, воздвигнутом ещё при наркомЕ Ежове. На дворе поздняя осень 1949-го, чрезвычайно урожайного для госбезопасности гола. Все посадочные места переполнены.

Здесь всё подчинено десятки лет назад заведённому ритуалу. В полдень недреманное око восходило в дверном глазке, откидывалась кормушка. Вертухай (от украинского «не вертухайся!») утробным голосом называет инициалы, нужно откликнуться, назвав свою фамилию. Ключ скрежещет в замочной скважине. Обитатели камеры № 252 выбирают. Марш по коридору вдоль вереницы дверей с наблюдательными глазками, мимо ограды и профилакти-

ческой сетки над провалом нижних этажей, железная коробка лифта, гром засовов. Выходная площадка и близкое дыхание воли. Далее мы шествуем гуськом вслед за конвоиром в туго подпоясанной шинели с сержантскими лычками на погонах, с кобурой на бедре, перед нами гремят сапоги, маячит узел ореховых волос под фуражкой с синим околышем. Завитки вокруг нежного затылка... Верите ли, это была девушка! Её подковки цокали по асфальту. Не помню, чтобы она хоть раз взглянула из-под своего картуза на нас. Всем своим видом, походкой девственной Дианы, угрюмым безмолвием она демонстрировала холодное презрение к врагам народа. И она исчезла — пропала, изо дня в день вталкивая нас, одного за другим, в прогулочный двор, похожий на картину Ван Гога, каменный мешок над небом Москвы, забаррикадированный глухими стенами и сторожевыми вышками, — исчезла, чтобы навсегда остаться в моей осиротевшей памяти. Это была влюблённость, никем не замеченная, безответная. Что стало с этой девицей, как она очутилась в этой цитадели зла, сменила ли свои лычки на звёздочки, вышла замуж, родила детей, дождалась внуков? Не ведаю. В те дни мне только что исполнился 21 год.

23. Время и вечность

Подросток Мориака открыл, что, пробуждаясь, любовь приобщает к вечности. Годы, спустя я возвращаюсь к этому сюжету.

...Время, в какие бы метафоры его ни обрядить: текущая вода, песок в песочных часах, угасающая свеча, кругооборот светил, — время поработает. Карусель событий одуряет, лавина эфемерных новшеств и новостей валит с ног. Жизнь современного человека — непрерывная суэта и спешка, отчаянные попытки устоять, не слететь с вращающегося круга. Стук колёс, уносящих в будущее, имя которому — хайдеггеровское бытие-к-смерти. Грохот состава, который ведёт безглазый машинист.

Но существует вечность. Для Платона («Тимей», 28) время — это движущийся образ вечности. У Борхеса это её модель. Понять феномен времени, говорит аргентинец, можно лишь если знаешь, что такое вечность».

24. Апостол и Дева

Искусство лечит. По преданию, евангелист Лука был врачом и художником. Безымянный русский иконописец XVI века изображает Луку (видел икону во Пскове, в городском музее) с мольбертом перед позирующей Марией, на груди у Девы младенец. Апостол свидетельствовал о Христе, которого никогда не видел ни ребёнком, ни взрослым. Явный ана-

хронизм. Но хронология здесь не причём, ибо персонажи потустороннего, запредельного иконного мира живут в вечности.

25. Ослепительная догадка

Есть вечность, есть чувство вечности, и его можно пережить или представить себе — как вечное Настоящее. Пусть изредка, но осеняет ослепительная догадка, что время — временно и этой временности противостоит нечто пребывающее.

Автор «Стенографии» возражает:

«Когда впервые видишь перед собой обнажённую девушку, думаешь, право же, не о вечности, а о чем-то другом. Сознание вечности может возникнуть потом, в воспоминании».

Так; но это будет уже отрефлектированное воспоминание повзрослевшего человека. Итак, что же это было: порыв ветра, мгновенно вспыхнувшее желание обладать юной женщиной? Не думаю. Юношеская влюблённость, ещё не сознающая себя физическим влечением? Может быть, — но и нечто иное: откровение вечности.

26. Ещё видение...

Никого не было. Ни звука в коридоре. Серый зимний день сочился в окно. Он — удобнее будет го-

ворить о себе в третьем лице, — он сидел над учебниками, когда послышался шорох. Кто-то там крался. Робко приоткрылась дверь в комнатёнку общежития. Студент поднял голову. Она вошла. Он улыбнулся скорее из вежливости; гостья приблизилась в видимом смущении.

Была такая Фаина Кравец, иначе Фая. Он всё ещё не двигался; молча, обняв его сзади, она дала почувствовать прикосновение своей плоти... Неожиданно стукнуло что-то снаружи, она отпрянула. Мужчина покосился на дверь.

В пустом и холодном коридоре под сиротливыми лампочками по-прежнему всё молчало. Время застопорилось. Девушка шагала, глядя прямо перед собой, едва заметно подрагивая бёдрами, минуя одну дверь за другой, студент брёл за ней следом. Она была невысока, несколько полновата, волосы Фаи в безжизненном свете отливали рыжевато-медовым оттенком. Тысячелетия должны были пройти, прежде чем кровь цариц древнего Ханаана смешалась в Фаине с кровью пленниц-моавитянок. Она остановилась в конце коридора. Полутёмная лестница спускалась, как в преисподнюю, в подвал общежития. Оба сошли в сырую тьму подземелья. Он не спросил, зачем. Медноволосый психопомп, проводящий в подземное царство теней, тот, кто позвал за собой умирающего Густава Ашенбаха, повёл избранника по коридору. По стенам тянулись трубы

центрального отопления, ладонь нащупала на шершавой штукатурке выключатель. Жидкий свет брызнул с потолка, нашлась дверь; отворив, они оглядывали закуток с хозяйственной рухлядью, искали ложе.

Он подчинился. В огромных глазах Фаины стояли уверенность и ожидание, стояли предки и века. Губы зашевелились, — без слов, это был зов к продолжению жизни. Пальцы Фаины расстегнули кофточку, руки потянулись назад к лопаткам и обнажили грудь...

27. Снова «об этом»

Я знал её ещё тогда,
В те баснословные года.

Тютчев

Невольно соразмеряешь страну, где ныне коротаю мою затянувшуюся старость, с незабвенным, навсегда покинутым отечеством. Так можно сравнивать жизнь на Земле с прозябанием на Сатурне.

От тюрьмы, да от сумы не зарекайся; народ, присягнувший на верность тюремно-лагерному режиму, не мог найти лучшего поучения. Всякий, кому посчастливилось родиться в нашей замечательной стране, должен считаться с вероятностью рано или

поздно угодить в застенки. Прежде я скрывал своё прошлое, теперь это уже давно не тайна.

...Вспоминается разное. Помню вышеупомянутое событие, замечательное своей невероятностью, гробовой голос диктора Левитана из радиоприёмника на столбе в бараке: «Товарищ Сталин потерял сознание». Злорадное торжество, охватившее узников, хоть и старались его не показывать: наконец-то! И хотя каннибал, как считалось, ещё был жив, все поняли: это конец.

Но ещё много воды должно было утечь, прежде чем наступили перемены. Время — вещь необычайно длинная, как пел одуроченный временем государственный поэт. И тянулась она, эта вещь, словно на дальних планетах. Как малосрочник — восемь лет, вдобавок большая часть срока уже отсижена, — я был расконвоирован и должен был перепробовать много новых должностей и работ. Был и ночным дровоколом на электростанции, и банщиком-истопником в бане для начальства, и конюхом, и хозвозчиком, и комендантом на крайнем северном полустанке лагерной железной дороги. Полагаю, нет необходимости напоминать о том, что рабовладельчество в нашем государстве длилось и сохранялось нескончаемые годы. Как известно, год на Сатурне продолжается 3000 лет.

Загремел железный засов на вахте. Предъявив только что вставшему с лежанки, сладко зевающему

дежурному надзирателю свой заветный пропуск безконвойного, счастливец вышел за ворота лагпункта в синюю морозную ночь. На чёрном небе низко над лесом сверкали алмазные звёзды стоявшей горизонтально Большой Медведицы. Всю долгую ночь 55-го года несла вахту недоступная воображению семижды окольцованная планета лагерей, покровительница России. Всю ночь напролёт сияло, словно иллюминация, кольцо огней вокруг жилой зоны и били с вышек белые струи прожекторов.

По узкой тропке, протоптанной в снегу мимо увешанного лампочками, нежно позванивающего цепочками бессонных овчарок древнерусского тына рассказчик прошагал до угловой вышки с завёрнутым в тулуп пулемётчиком и направился к сторожке при магазине вольнонаёмных, охранять объект неизвестно от кого. Славная работа. На мне был стёганный ватный бушлат, род униформы заключённых, ватные штаны и чудовищные валенки бе-у, что означает бывшие в употреблении. На голове ушанка с козырьком рыбьего меха и завязанными ушами, руки в латаных мешковинных рукавицах.

Посидев маленько для порядка, вышел из сторожки. Тёмная и укромная чаща поджидала, храня тайну. Я научился определять время по звёздам. Привык к риску. Риск этот, и немалый, состоял в том, что если бы меня хватились, мне было бы не сдобровать. Влепят новый срок, а то и загонят с эта-

пом на край света. Отечество наше, слава-те господи, велико.

Столетние сосны, утонувшие в снегу, расступились перед идущим, я бодро шагал вперёд по знакомой дороге. Идти было недалеко, километров пять.

Наконец, посветлело впереди. В белёсой мгле завиднелись угластые избы под шапками снега. Ни звука, ни огня вокруг, деревня Кукуй спит вековым непробудным сном со времён Батья, лишь два окошка светятся на самом краю селения. Проваливаясь в сугробах, путник перебрался через погребённый плетень и взошёл на крыльцо. Оттоптал снег в сенях, толкнулся в тяжёлую, застонавшую дверь. В тёплой и духовитой от развешанных под потолком пучков полыни избе было чисто и уютно, чахлый огонёк вздрагивал в сальном светильнике на дощатом столе, в красном углу поблескивала жестью оклада темноликая византийская Богородица.

Гость уселся на пороге, стянул валенки, размотал портянки. Она стояла надо мной, босая, молча, в длинной рубахе, под которой стояли её большие материнские груди.

— Феклуша, — прохрипел я или тот, кто был тогда мною — Феклуша! — И они обнялись, и долго и горячо целовались.

НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРКВИ: АЛЛА ГОРБАЧЁВА

Нас венчали не в церкви, не в венцах со свечами,
Нам не пели ни гимнов, ни обрядов венчальных.
Разбудил нас не свекор, не свекровь, не невестка,
Не неволюшка злая,
Разбудило нас утро.

Даргомыжский, Свадьба. (Слова А. Тимофеева)

I

«Я получил такое письмо. Милостивый государь...»

Отчего пришла в голову первая строка повести Антона Павловича Чехова «Жена», не слишком известной, моей любимой?

Я тоже однажды получил письмо, правда, без этого обращения. Давно было дело. Однако храню его по сей день. Оно напомнило мне старинный эпизод моей жизни и воскресило забытое имя: Алла Горбачёва.

Память прихотлива, как движение облаков. Вот так же неожиданно всплыло это имя. Имя неотделимо от человека. Лишившись имени, вы перестаёте существовать. Но она, эта Алла Горбачёва, стоило только мысленно её окликнуть, ожила. Я спрашивал себя: что сказала бы Алла, прочитав нижеследующие заметки? Осталась бы довольна? Как отнеслась бы к попыткам разгадать — ведь каждая девушка ведёт се-

бя загадочно — смысл её поступков? (Впрочем, ответ содержится в её письме.) Получается, что я думаю о ней как о живой, — между тем как её давно уже нет на свете. Чудо воскрешения совершило её имя.

Вернусь к письму. Не уверен, надо ли его публиковать. Зачем?

II

Многоуважаемый... Извините, что обращаюсь к вам официально на «вы». Мы с вами старые знакомые.

Пишет вам бывшая ваша подруга Горбачёва, по мужу Селижарова, Алла Владимировна. Я прочла ваш рассказ. Вы пишете: а что бы она (то есть я) сказала, узнав, что это о ней? Вот и хочу вам сказать.

Конечно, вы там кое-что прибавили, некоторые подробности не совпадают с действительностью. Я и сама уже не всё помню. Наверное, многое позабыла. Но я это говорю не в укор вам. Вы писатель, это ваше право. А может, нам лучше друг другу снова говорить: ты?

Не буду скрывать, твоё произведение меня разволновало. Столько воды утекло! Ты бы меня не узнал, я теперь совсем седая, а ты ведь и тогда был старше. У меня дети взрослые, внуки почти того же возраста, как я тогда была. А вот как сложилась твоя жизнь, если не считать того, что ты, наверное, стал знаменитым, — об этом ничего не знаю.

Повторяю, я не собираюсь ни в чём тебя упрекать, — может, я действительно такой и была, как ты меня описал, одно только скажу: ты утверждаешь, что был для меня какой-то особенной, романтической личностью, и дескать, оттого я и прилепилась к тебе, твоя таинственность будто бы была главной причиной. А я тебе скажу, что дело было совсем не в этой таинственности, не в том, что ты меня как-то особенному заинтриговал, нет, я просто влюбилась. Ты был старше, опытнее, умнее; я тебя любила с первого курса и до конца, несмотря на то, что ты был довольно невзрачным на вид и для женщин непривлекательным, вообще не был настоящим кавалером, — да и сам ты рассказываешь об этом вполне объективно. Я любила, но тебе это было не понять, никакого счастья от этой любви, от моей преданности мне не досталось. Ты даже представить себе не мог, что я пережила и даже плакала по ночам. Прямо скажу тебе: такой любви ты не был достоин. Потому что ты, мой друг, правильно говоришь о себе, что любить, как любят, по-настоящему, всем сердцем, — ты не умел. А вот что касается твоей скрытности, я одного не понимаю. Зачем тебе надо было всё скрывать... Ты боялся, что узнают о твоём прошлом, ну и что... Конечно, тогда было другое время, но прятаться от меня, когда ты видел, как я к тебе отношусь, — вот этого я тебе никогда не прощу. А я-то, идиотка, не могла догадаться, и спросить было не у кого...

Но раз у тебя была такая непробиваемая тайна, которую ты не удосужился мне открыть, не доверял мне, сообщу тебе и свой секрет. Я сейчас перечитала снова последнюю страницу. Ты говоришь: я узнал, что она боялась боли. То есть по-русски — дефлорации. Чуть какая-то. Чего я действительно остерегалась, так это ведь дело обыкновенное — боялась забеременеть... Остерегалась, да не остереглась. Хоть и было-то всего несколько раз. Было, а ты потом ничего не замечал. А я тебе ничего не сказала, когда у меня прекратилось. Боялась, что ты от меня отвернёшься. Тут как раз окончился семестр, надо было готовиться к сессии, я тебе ничего не говорила. А когда уже скрывать было невозможно, уехала к маме в Селижарово. Городок, а вернее, рабочий посёлок, небольшой, это у нас самая частая фамилия, чуть не в каждом доме живут такие. И я теперь тоже Селижарова, вышла замуж не сказать чтобы удачно, за человека, с которым мы в школе учились в одном классе. Не хочу о нём рассказывать.

Ну так вот. Раз уж я тебе написала...

Дома я натерпелась. Роды были тяжёлые, а самое ужасное, мальчик твой — ведь у нас был сын, сын был! — помер. Вот сейчас сажу и пишу тебе. Столько лет прошло. Сажу и утираю слёзы...

III

Долгое время я не замечал Аллу Горбачёву в толпе девиц, составлявших большинство студентов нашего курса; мне казалось, их было слишком много. Я был старше почти всех; это обстоятельство, как и то, что я был озабочен исключительно собственной, никому не известной судьбой, держался особняком и старался лишь никому не бросаться в глаза, — не располагало к любовным приключениям, да и не давало мне шансов нравиться; новая для меня обстановка усугубляла мою природную застенчивость. Я и прежде никогда не питал иллюзий касательно своей внешности, на мой взгляд невыгодной. Юность осталась там, откуда я прибыл. Мне исполнилось 27 лет. Кажется, и волосы начали редеть у меня на макушке. Я благословлял судьбу, разрешившую мне сдать приёмные экзамены, поступить в институт.

Помню, с чего началось, — совершенно незначительный эпизод. Я стоял в коридоре аудиторного корпуса у окна — она ко мне подошла. Невысокая, полноватая и довольно широкобёдрая для своих лет, в очках, в коротком, как тогда носили, платье до коленок, круглое, нежное и доверчивое лицо с негустой чёлкой на выпуклом лбу. Я даже не знал, как её фамилия. Лекция только что кончилась, громко переговариваясь, весёлый народ спускался по широкой лестнице к выходу. Мне тоже пора было идти, трамвай ходил редко, приходилось долго добираться до окраины, где я снимал комнатку в полудеревенском

доме у глухой одинокой хозяйки. Я медлил, о чём-то размышляя; тут она появилась. Спросила, кого я жду.

Никого, сказал я. Последовал обмен незначащими репликами, я отвечал нехотя. Она отщёлкнула крышку своей «балетки» — так назывались плоские овальные чемоданчики, которые почему-то употреблялись вместо портфелей. Вынула и показала мне фотокарточку. «Похожа я, — спросила, — на еврейку?»

Дурочка, подумал я, сбитый с толку нелепым вопросом; впрочем, смелость, как потом выяснилось, была в характере Аллы. В те времена слова еврей, еврейский в нашей стране относились к числу неприемлемых. Очевидно, она решила, из-за моей неоставлявшей сомнений фамилии, что мне должны быть по вкусу только иудейки. Означал ли её вопрос, что ей хотелось мне понравиться? Вместо ответа я пожал плечами. Видя, что я тороплюсь, странная девушка двинулась вслед за мной. Оказалось, что ей нужно в ту же сторону.

Дождались трамвая, втиснулись в вагон. Толпа, колыхаясь, подталкивала нас друг к другу. Наконец, доехали: конечная остановка. Я спросил:

«Куда ты теперь?»

«Никуда!» Она засмеялась.

Несколько минут мы топтались на остановке; подошёл, возвращаясь, визжа на повороте, тот же трамвай. «Мы увидимся?» — спросила Алла Горбачёва, сунув мне чемоданчик, и прыгнула на площадку го-

ловного вагона. Я вернул ей балетку. Она помахала мне.

Так состоялось наше знакомство и продолжалось как бы по инерции — я чуть было не сказал: по обязанности. Правило, по которому ухаживанье должно быть как езда на велосипеде, — перестанешь крутить педали, и велосипед повалится, — к нам как будто не относилось. Да и кто за кем ухаживал? Ясно было, по крайней мере, что, вопреки тогдашнему пуританскому этикету, инициативу берёт на себя она. Появлялась, словно невзначай, в библиотечном зале, не стесняясь отвлечь меня от занятий. Я поднимался... Не сговариваясь, мы усаживались в институтском коридоре. Перед окнами были придвинуты скамейки, высокой спинкой к проходу, так что снаружи не было видно, кто там сидит. Всё ещё длилась прекрасная, приглушённая, солнечная среднерусская осень.

Как-то так стало получаться, что после лекций мы выходили вместе, садились в сквере перед Путевым дворцом, известной достопримечательностью нашего города. Город древний, когда-то соперничал с Москвой. Но от его старины мало что осталось. Монгольское иго, распри князей, наконец, страшный двадцатый век с революцией, гражданской войной, с двумя мировыми войнами не пощадили исторических памятников. Дворец, построенный при Екатерине Второй, уцелел чудом во время уличных боёв ранней осенью Сорок первого. Царица останавливалась в нём по дороге из одной столицы в другую.

Подружку мою эти подробности не интересовали. Её занимала моя биография. Я отмалчивался, переводил разговор на другие темы. Но это лишь разжигало её женское любопытство. Похоже, моя уклончивость повышала мои акции, чего, клянусь, я вовсе не добивался. Постепенно я стал для неё фигурой почти романтической, она подозревала любовную историю, таинственное прошлое. Господи, думал я, если бы бедняжка знала, с кем имеет дело!.. Скажи я правду, кто я такой, откуда явился, она бы отшатнулась от меня.

Придётся сделать небольшое отступление. Как известно, мы жили в секретном государстве. Я, естественно, был его подданным, это означало, принимая во внимание мои обстоятельства, что я был обязан помалкивать. О чём помалкивать? Да обо всём – неужели это неясно? Впрочем, хватит об этом, вернусь к другим материям, к лучшим временам.

IV

Так вот... В один погожий октябрьский день, мы сидели по уже установившейся привычке в скверике перед дворцом, я на скамейке, она на другой, лицом ко мне. Алла была в лёгком полурасстёгнутом пальтеце, в бывшем школьном коричневом платье. Говорили о чём-то невнятном. Тут произошло нечто, я бы сказал, сенсационное. Аллочка решила на пробный шар. Откинув полы пальто, отодвинула чуть повыше

подол платья. Смотрела отсутствующим взором куда-то вдаль. И словно бы забывшись, а может, и вправду забывшись, стала поглаживать свои обтянутые хлопчатобумажными чулками (тонких тогда ещё не носили), тесно сдвинутые колени. Я взглянул мельком на неё. Это не было обдуманной тактикой, что-то иное блеснуло в её неподвижных серо-серебристых, увеличенных стёклами очков глазах: решимость, самозабвение, вызов?.. Причудливая догадка мелькнула у меня в голове. Она влюблена! Не в меня, упаси бог, а в себя, и *смотрится* в меня, как смотрятся, любуясь своим отражением, в зеркало. Ей хотелось видеть себя моими глазами, видеть, какова она есть, скажу больше: хоть чуточку, на минутку – обнажиться.

Нужно было нарушить затянувшееся ожидание. Она робко спросила, – и я тотчас вспомнил – спросила таким же тоном, как спросила тогда, похожа ли она на еврейку:

«Красивые у меня ноги?»

«Красивые», – сказал я.

«А так?» – и приподняла занавес ещё немного. – Погладь меня. Я разрешаю».

Я почувствовал её частое дыхание. Поистине то была неслыханная отвага. Быть может, решающий момент. Она – это только моя гипотеза – всё ещё переживала как открытие свою созревшую телесность, она понимала, что стала, наконец, *самой собою*. Позже она призналась мне, что простаивает часами перед зеркалом. Не представляю себе, каким это обра-

зом, при всей нашей советской тесноте и скученности, она сумела уединиться — стоять вот так, без всего, перед волшебным стеклом. Мечтала ли она о мгновении, когда кто-то чужой овладеет ею? Думала ли о моей скромной персоне? Влюбившись в своё тело, она хотела влюбить в него и меня.

И всё-таки — вопреки всему сказанному — я должен сознаться: не так-то просто было оставаться равнодушным к этой ауре чистоты и девической прелести, которую излучала восемнадцатилетняя Алла Горбачёва.

Власть имени! Опять, стоило мне лишь произнести мысленно её имя, она воскресает передо мной. Больше того: встречаясь с Аллой, я невольно — что подделаешь? — видел её такой, как только и *нужно* было её видеть: без одежды. Какой же я был идиот! Добыча сама буквально шла мне в руки. А я?..

А она? Право же, не требовалось усилий ума и воображения, чтобы понять, *что* ею руководило. Разгадка её поведения, странного для меня, необычного для тех лет по меркам тогдашнего ханжеского репрессивного общества, да к тому же ещё в затхлой мешанской атмосфере провинциального города, была проста.

Странного, говорю я. Но, в конце концов, покажите мне молодую девушку, которая не вела бы себя загадочно. Как всякая в её возрасте, Алла мечтала о любви, и то, что я оказался её избранником, вся её простодушная стратегия, всё это было не чем иным,

как репетицией пьесы, в которой она должна была стать главной героиней, автором и режиссёром.

Незабываемая минута встаёт, как говорили в старых романах, перед моим внутренним взором. Я и она, мы сидим, как потерянные, перед крыльями цитадели, где, мнится, ещё не так давно, в изукрашенных двусветных залах шествовало парчëвое платье всероссийской государыни, семенили её атласные туфельки, где гремела музыка на антресолях, дамы и кавалеры раскланивались друг перед другом, — чтобы два века спустя, такую же погожей осенью, среди свиста и грохота, площадь перед фасадом покрылась окровавленными телами защитников и завоевателей. И вот теперь, в тишине, Алла приподымает платье. Кто была эта девушка, набравшаяся храбрости показать мужчине совсем малую часть себя — обтянутые чулками колени? Что такое этот наивный полудетский эксгибиционизм, о котором ныне я исписываю страницы? Жизнь, просто жизнь.

V

«Дай мне руку...»

Повинуясь её направляющим движениям, я ощущаю тёплоту её ног. Вся она — ожидание. И вновь, почти шепотом: «Ещё. Чуть повыше...»

Тотчас, минуты не прошло, она отбрасывает мою ладонь. Колени скрылись под шерстяным платьем. После чего я слышу, как она пролепетала:

«Ты меня любишь?»

«Да».

«Действительно?»

«Конечно».

«Ещё погладь...»

В высоких зеркальных окнах за нами стояло серебряное небо. «Холодно!» — она расправила занавес платья. Занавес немоты опустился над нами. Конечно, она ждала других слов. Я должен был сказать их *первым*. Я не умел их произнести.

Она заговорила:

«Что я для тебя? Ты мне никогда ничего не говоришь. Ты меня презираешь».

«Это неправда, Алла».

«Ничего о себе не рассказываешь...»

«Что же я должен рассказывать?»

Снова молчание.

Она: «Я всё хочу тебя спросить... Кем ты вообще был?»

Я: «Никем. Работал...»

«Где?»

Не дождавшись ответа:

«У тебя были женщины?»

«Что за вопрос, Алла...»

«Нет, я спрашиваю. Были?»

Я пожал плечами. «Были. Ну и что?»

«Много?»

Я подумал. Или сделал вид, что подумал.

«Нет».

«Ты их любил?»

«Не помню».

«Какие они были?»

«Забыл, Алла, честное слово».

«Я не хочу, чтобы ты меня забывал».

«Разве мы расстаёмся? Не забуду».

«Я хочу быть твоей женщиной», — выпалила она.

«Что это значит? Ты пока ещё не женщина».

«Не знаешь, что значит быть чьей-то женщиной?»

«Приблизительно».

«Я не хочу быть приблизительной!»

Я усмехнулся. Меня забавлял комизм этого диалога. Почему комизм? Серьёзность Аллы, решимость, с которой она, словно бросаясь в воду, выразила готовность стать «моей женщиной», — смеяться над этим, ей-богу, было кощунством. Возразить? Честнее было бы спросить: а как *ты* себе это представляешь?

Едва ли я мог вообразить себя — о чём уже говорилось — избранником прелестного, юного существа, для которого я во всех отношениях не подходил. Сопротивляться её чарам... Проклятая моя судьба! Что же я мог, чем *должен был* ответить? Боюсь *связываться*? Чего доброго, воспользоваться её безоглядной, бескорыстной привязанностью, *сойтись* с ней? Отвратительный словарь тех лет. Гнусный быт, унылая проза умерщвляли нашу молодость. Вечно одно и то же. Надо было искать случая уединиться. Но где,

как? Куда ни сунешься, всё обсижено. Везде народ, некуда податься не в городе — в нашей невероятно тесной стране. Никакой возможности укрыться. Обняться, поцеловаться — где? Разве только в телефонной будке. В подъезде, на лестнице, пахнувшей кошками. На каждом углу маячит не обещающая ничего хорошего фуражка милиционера, повсюду хищные глаза старух, сидящих на страже нравственности. Последнее убежище — кино, душный, переполненный зал и робкие, на грани дозволенного встречи рук в темноте.

Ни у меня, ни у неё не было домашнего угла. Алла приехала учиться, рассчитывая пожить недолго у дальних родственников; я надеялся получить койку в студенческом общежитии, которое строилось уже который год.

Но! В том-то и дело, что всё это было лишь отговоркой.

Нечего и говорить о том, что условием нашего будущего союза — каким бы ни вообразала его себе Аллочка, — непременным условием было ответное чувство. Любовь была для Аллы вероисповеданием. Но чем и как я мог ей ответить? Вера была её великим преимуществом, вера возвышала её надо мной. Тогда как я был атеистом любви. «Никогда мне ничего не говоришь». В который раз я слышу её упрёк. Всегдашний вопрос: ты меня любишь? Конечно, говорил я. Но это было *не то*. Не та интонация. «Поче-

му ты молчишь?» — «Стесняюсь». — «Господи, кого ты стесняешься? Меня?»

Нет, не того от меня ждали. Я был старше других, следовательно, солиднее, иные девицы недвусмысленно выказывали желание сблизиться со мною. Я, однако, был «занят», и моя девочка довольно бесцеремонно давала им это понять. Мне кажется, я не подавал повода к ревности.

VI

Помнится, уже после войны случайно попался мне на глаза учёный труд о новом неизвестном заболевании; автор присвоил ему название *concentration camp disease*. Медицина меня не интересовала. Внимание привлёк заголовок. Речь шла о бывших узниках Освенцима, Бухенвальда, Берген-Бельзена и так далее. Спустя годы у выживших регистрировались необъяснимые хронические расстройства и общее, нарастающее физическое и духовное истощение. Называлось оно, это истощение, как уже сказано, болезнью концентрационных лагерей. О ней защищались диссертации, присуждались научные степени. Советский Союз, разумеется, тут вообще был ни при чём.

Теряясь в бесплодных догадках, бедная девушка домогалась ответа: была ли у меня когда-нибудь настоящая любовная связь? Произошёл даже такой случай. Она задала мне один вопрос, и я почувство-

вал, каких усилий ей стоило преодолеть стыд и неловкость:

«Ты, наверное, болен?»

«Болен, чем?» — переспросил я с присущей мне тупостью. Но тут до меня вдруг дошло. Моё увиливание, не правда ли, прямо-таки наталкивало на ответ. Импотенция?

Я пробормотал:

«Ты имеешь в виду... Ты хочешь сказать, что я... неспособен?..»

Она с недоумением — может быть, даже притворно — взглянула на меня. Я вынужден был повторить; ты думаешь, что?..

Реакция последовала совершенно неожиданная. Плечи Аллы затряслись. Она заплакала.

Решила, должно быть, что нанесла мне ужасное оскорбление. Я растерялся. Она, схватила меня за руки, рыдая, рассыпалась в извинениях. Ей, оказывается, и в голову ничего такого не приходило. Теперь всё понятно. К великому несчастью, она не еврейка. А евреев, говорят, по закону положено выбирать себе только «своих». Значит, мне нравится другая. Кто-то успел поймать меня в свои сети.

«Кто?»

Я чуть было не расхохотался — было названо некое постороннее имя. Якобы строит мне глазки не первый год. Ну и пусть! (Тяжело вздохнув.) Так любить, как она, Алла, меня никто никогда любить не будет.

«Несмотря на?»

«Несмотря на что?»

«На то, о чём ты говорила. Что я сознательно тобой пренебрегаю»

«Во-первых, я об этом не говорила», — сказала она наставительно. — А во-вторых... Ты просто ничего не понял». Ты вообще ничего не хочешь понимать», — заключила она.

И, может быть, была права.

VII

Не берусь судить о медицинской стороне дела. (Это насчёт «синдрома лагерей»; существует он или нет?). Но если говорить обо мне, — я был в самом деле калекой. Я был паспортным калекой. В моём на первый взгляд обыкновенном «молоткастом, серпастом» паспорте скрывался тайный предатель — особая пометка, которая делала меня, если позволить себе такое уподобление, ходячим мертвецом среди живых. Моё «дело», куда бы я ни подался, всегда ходило вслед за мной. Меня мог остановить на улице любой милиционер. Поманить пальцем и потребовать предъявить «документы» — мой волчий билет. Это означало инвалидность, — не физическую, а духовную. Я был отравленным человеком. Полагаю, впоследствии это обстоятельство отразилось на моём писательстве. Одна тема, как наваждение, преследует меня всю жизнь. Три кита, на которых покоятся наши

славные Органы: всеобщая слежка, застенки и лагерь. Без них, без грандиозной системы государственного насилия и принудительного труда непредставима наша держава. Но — молчу: довольно об этом.

VIII

О чём, стало быть, о какой тайне добивалась от меня услышать ни о чём не подозревающая девчушка? Хватило бы у меня отваги сказать о глубоко засекреченном подземном мире? О тех отсутствующих на карте, обозначенных комбинацией цифр и литер гиблых краях, куда день за днём, ночь за ночью эшелоны без окон, влекомые грохочущими восьмиколёсными локомотивами с красной звездой на брюхе везли и везли невольников в битком набитых зарешечённых клетках столыпинских вагонах? Рассказать — кому? Зачем? Я онемел. Вдруг стала ясной бессмыслица подобных откровений.

Задаёшь себе вопрос: неужто я успел к ней привязаться? Предположим, я её даже полюбил. Но *уметь любить!* — Алла была права, и теперь, через столько лет, читая и перечитывая её письмо, я не устаю изумляться её женской пронизательности, — теперь я понимаю, что от этой способности я исцелился радикально. Я больше не умел любить. Я забыл слова любви. В тех местах, откуда я прибыл, разучаются любить. Таков был урок лагеря... Миллионы тех, кому удалось выжить, прошли эту школу, изменившую —

кто посмеет это отрицать? — нрав и облик всего народа. Я был его достойным сыном.

Одно могу сказать — чтобы уж не возвращаться то и дело к прилипчивой теме: я боялся. Да, представьте себе.

Меня не занимал вопрос, который так её волновал — люблю ли я Аллу. Но когда после моего мало кем ожидаемого, так называемого условно-досрочного возвращения на волю я сталкивался случайно с кем-нибудь из бывших друзей или знакомых, люди шарахались от меня, словно я был выходцем с того света. Что, собственно, не противоречило действительности. Обходили бочком, делая вид, что не узнают меня, и в самом деле не узнавали. Это был страх иметь дело с бывшим врагом народа, риск вызвать подозрение, будто якшаешься с такими людьми. Нас давно уже не существовало.

Словом, как бы ни показалось странным всё, о чём я тут говорил, — я боялся. Стыдно сказать, но я попросту *боялся потерять* Аллу. Узнав, кто я такой на самом деле, какого рода прошлое у меня за спиной, какое будущее ожидает, — а ведь никакого будущего у меня не было, я был заклеймён на всю жизнь, — услышав обо всём этом, она отшатнулась бы от меня. Вот и всё, самый простой ответ.

IX

Я стою перед домом. Если бы меня спросили, я ответил бы, что ждал этой минуты всю жизнь. Алла выходит на крыльцо, в руках у неё портфель-«балетка» и плетёная корзина с провизией, она озирается — кто-то подглядывает в одном из окошек с резными наличниками. Она стоит на ступеньках... Это всего лишь девушка с заурядным, по-русски круглым и нежным, слегка скуластым лицом, с каштановой чёлкой на выпуклом лбу, невысокая, склонная к полноте и несколько широкобёдрая для своих лет, в очках, в коротком, как тогда носили, платье до коленок, такая же, как в тот день, когда она показывала мне фотографию и спрашивала, похожа ли она на еврейку.

Мы безмолвствуем. Лес встречает нас тишиной и прохладой. Солнце едва пробивается сквозь густой, весь в крапиве малинник. Лес дышит судьбой. Мы отыскиваем поляну.

«Подожди меня, — говорит она, — я сейчас...»

Я один. Её нет. А я вернулся. Вернулся — *оттуда*.

Жду. Наконец, она появляется, я смотрю на неё с удивлением. Алла принесла два венка из лесных цветов. Алла Горбачёва сидит на траве перед расстеленной скатертью с едой и посудой. Венки украшают нас, один на ней, другой она возлагает на голову мне. Она ложится на спину, составив коленки, её глаза устремлены на верхушки сосен и синие небеса, она подтягивает край одежды, я стою перед ней на коленях, мы

оба медлим, я привожу себя в порядок и уже знаю,
что под платьем кроме неё самой не окажется ничего.
Нас венчали не в церкви...

2013–2016

КОНФИСКОВАННОЕ ПИСЬМО К СТАРОЙ ПРИЯТЕЛЬНИЦЕ, ИЛИ МАЛЕНЬКИЙ ТРАКТАТ О ЛЮБВИ

Вполне возможно, что женщины, которых мы целовали, как и места, где жили, на самом деле не таят в себе больше ничего из того, что заставляло нас любить, возжелать, жить там, бояться потерять возлюбленную. Искусство, притязающее на сходство с жизнью, дискредитирует драгоценную правду впечатлений и воображения и тем самым уничтожает единственно ценную вещь. Но зато, изображая ее, оно придает ценность вещам самым заурядным.

Из записных книжек Марселя Пруста

Дорогая!

Замысловатый заголовок позабавит вас, если не отпугнёт: ведь наши отношения всё-таки не настолько доверительны, чтобы позволить мне без стеснения распространяться на весьма деликатные темы. Трактат о любви, скажете вы, это ещё что такое? Мы не в прошлом веке. Кому сейчас интересна эта философия?

Сидя перед девственным листом бумаги, за столом, на котором некогда возвышался похожий на мемориал дедушкин письменный прибор, обмакивая звзставочку в чернильницу и держа наготове пресс-папье, я чувствую себя могиканином эпохи,

когда электроника ещё не отучила людей пользоваться таким архаическим инструментом, как стальное перо, и не похоронила традицию эпистолярной прозы. Тем не менее, возвращаясь к ривычкей вам привычке напоминать о моём существовании. О чём же мы будем беседовать... Что нового может сообщить, чем вас развлечёт корреспондент, для которого всё новое — давно известное старое?

Заговорив о почтовой прозе, я стал думать о том, какое значение имели письма в моей до неприличия затянувшейся жизни, — и вот вам тема! Начать хотя бы с одного примера.

Я знал, не мог не знать, что письмо оттуда, сама попытка связаться с внешним миром, кроме ближайших родственников (к ним разрешалось написать один раз в месяц открытку без заведомо секретных подробностей, с закодированным обратным адресом), подвергает опасности адресата, — хотя какой именно опасности, какому риску, можно было только гадать. Все постановления этого рода были секретными, как и самый факт существования концлагерей, — слово это принадлежало ко множеству непроизносимых слов.

Не мне вам рассказывать, дорогая, что мы жили в заколдованном государстве, допуславшем лишь изъявления безграничной преданности и благодарности. Всякая секретность порождает адекватное ей ханжество, и запретность этих слов должна была

означать, что ничего подобного нет и не было в нашей самой счастливой стране. Не было никаких лагерей принудительного труда, рабовладение существовало только в учебниках лрвней истории. Не было и нас, обитателей этого неназываемого потустороннего мира, — совершенно так же, как для ребёнка, которому родители запретили произносить нехорошие слова, не полагается знать, для чего предназначены части тела, обозначаемые этими словами.

Так вот, мадам, — если вернуться к начатому, — я вполне отдавал себе отчёт в том, что две-три строчки, которые я осважился направить из заключения девушке по имени Ирина Вормзер (и на которые, разумеется, не получил ответа), могут причинить ей неприятности, и всё-таки послал — зачем? Считать ли это мальчишеской бравадой, ссылаться на то, что мне тогда шёл двадцать второй год? Поступок, бесспорно выдававший в уже взрослом человеке и политическом заключённом подростка, для которого важнее всего произвести впечатление, козырнуть перед девочкой, дать понять, что к ней равнодушны. Главное, сказать ей об этом. Инфантильность была характерной чертой нашего поколения. Впрочем, позднее, спустя много лет выяснилось, что послание всё-таки дошло, и притом без всяких последствий для адресата.

Любовь, говорит Пруст, это всего лишь плод нашего воображения (или, ещё определённой, «негатив чувственности»). Мы любим не реальную, обыкновенную девушку, какова она в жизни и за кого сама себя принимает, — но ту, какой мы её себе представляем. История моих отношений с Ириной Вормзер (надеюсь, вы догадались, читая некоторые из моих сочинений, где она — главное действующее или скорее недействующее лицо, что имя это вымышлено) — история наших взаимоотношений, говорю я, лишний раз подтверждает убийственную правоту автора «Поисков утраченного времени».

Здесь, я думаю, кроется и ответ, зачем мне понадобилось переименовать её. Новое имя преобразует его носителя, и я почувствовал, что должен описывать возлюбленную не совсем такой, какой я её знал, но той, чей образ некогда рисовало мне моё воображение. Литература — это воображение. И вот теперь, вспоминая далёкие времена и эпизод (о нём ниже), сам по себе совершенно незначительный, но врезающийся в память, я спрашиваю себя: была ли эта Ира Вормзер, носившая тогда своё настоящее имя, реальной Ирой, а не иллюзией семнадцативосемнадцатилетнего юнца?

И ещё олно. Мою эпистола украшает роскошный эпиграф; чувствую, что вы усмехнулись, вспомнив, кому он принадлежит. Сколько тут противоречий! Пруст и лагерь, салон г-жи Вормзер и

подземное царство теней в арестантских бушлатах Комбре, Бальбек и гибдая, заболоченная костромская тайга. Да можно ли вообще вообразить что-либо менее несовместное? Два мира, словно две планеты с их обитателями. Но буду продолжать.

Принимаясь за это послание, я чуть было не упомянул ещё об одном письме. Ослепительная идея объясниться в любви способом, какой избрала Татьяна Ларина, не впервые осенила вашего корреспондента. Письма, как верстовые столбы, разместили мою жизнь. Письма обозначили эпохи жизни. Вы, дорогая, знакомы с моими сочинениями; не устаю благодарить вас за терпение и снисходительность. Прочитав в отрочестве переписку Герцена из владимирской ссылки с кузиной Натальей Захарьиной, я заболел эпистолярной манией, и первым симптомом было послание к 20-летней, старшей меня на четыре года, Нюре Приваловой, — имя на сей раз подлинное. Я и ейчас не могу произнести его мысленно без волнения. Дело происходило во время войны, в эвакуации, гредставьте себе; где-то далеко, за тысячи вёрст, грохочет артиллерия, гудят бомбардировщики, рушатся города и люди гибнут тысячами и десятками тысяч ежедневно, ежечасно, под обломками зданий, в дыму пожаров и на полях сражений, — а в это время подросток, задумавшись, с повисшей над тетрадкой дневника вставочкой, в спящем бараке, при свете коптилки, решительно

поднимается и выходит тайком, чтобы той же ночью прошагать всю дорогу до села и опустить в почтовый ящик, заветный треугольник, письмо, сочинённое с единственной целью: пусть она знает! Сколько-то времени спустя за этим отважным поступком последовало возвращение в Москву, а там университет, первый курс... и снова письмо — к кому же опять? Вы улыбаетесь... Разумеется, к той, кому много позже в своей литературе я присвоил имя Иры Вормзер. Не буду сейчас о нём. Как вы теперь знаете, оно не было и последним. Итак, довольно о письмах; перейдём к эпизоду, о котором я мельком и, может быть, неосторожно упомянул выше.

Если верно, что юношеская влюблённость, которая почти всегда остаётся безответной, может чему-то научить, то правда и то, что увлечение Ирой Вормзер всё-таки научило меня, в чём я убеждаюсь много лет спустя, кое-чему, во всяком случае, подарило мне две-три темы для будущего писательства. Упомяну примечательный парадокс: невозможность раздвинуть таинственную завесу, которую я сравнил бы (не довольно ли, однако, литературных реминисценций?) с покрывалом Изиды у Новалиса. Юный Гиацинт приподнимает покрывало, скрывающее некую истину, и оказывается, что возжеленную тайну воплощает его возлюбленная, неуловимая Розенблют. В моей ситуации было нечто комическое: я знал, узнавал Иру, словно книгу, за-

читанную до того, что из неё можно цитировать наизусть целыми страницами; я знал во всех подробностях её убор, причёску, походку, черты лица, манеру поправлять упавший на висок завиток бледно-золотистых волос, издавдалека угадывал звук её шагов, замечал её в толпе сверстниц, закрыв глаза, видел её всю... а вместе с тем не решался её разглядывать, не мог себе представить, что найду случай ненароком коснуться её одежды. Она была для меня восхитительной плотью, и, однако, я не мог, не смел и не умел вообразить её хотя бы наполовину обнажённой. Было просто невымыслимо поднять покрывало над её тайной, не оскорбив при этом, пусть мысленно, её целомудрие и не посягая на её а priori принимаемую теоретическую невинность. Была ли она «невинной»? Впрочем, в те времена, в пуританском обществе, воспитавшем нас, презумпция девственности была чем-то само собой разумеющимся. Сегодня, после всех пронёсшихся надо мною лет, я сумел бы, призвав на помощь свою литературную искущённость, а лучше сказать, испорченность, разоблачить тайну, или, что то же самое, истину — описать её тело юной, только что созревшей женщины, каким оно ныне предстала моему воображению, — если бы не опасение шокировать вас, дорогая. Вы поверите мне, если я вам скажу, что никогда не помышлял о том, чтобы соединиться с Ирой, обладать ею.

Мы опять отвлеклись; будем продолжать.

Я назвал общество тех лет пуританским; думаю, вы согласитесь со мной, что ещё верней было бы назвать его — имея в виду не только политику, но и мораль — полицейским. Тут — или, как принято говорить, «в этой связи» — мне хотелось бы кое-что сказать о нашем поколении. Трудная тема! Шаткое, неверное слово. В самом деле, кто такие были эти «мы», что такое наше или не наше поколение? Фантом, изобретение писателей. Моё поколение — это абстракция. Я привык считать себя закоренелым индивидуалистом. Я питаю глубокое недоверие ко всякому коллективизму. Ни с какой общественностью я ничего общего не имел и не испытывал желания связываться.

«Я поздно осознал свою принадлежность к поколению», — замечает Марк Харитонов (эссе «Родившийся в 37-м»), — даже как бы сопротивлялся чувству этой принадлежности». Фраза, под которой я охотно бы подписался.

Толкуют о «нашей эпохе». Боже милостивый, какая эпоха? Мы жили в эпоху, которой не было. По крайней мере с окончанием войны эпоха «эпох» в нашем государстве попросту прекратилась. Бывают такие страны, где история проваливается время от времени в яму.

Но! Хочешь не хочешь, придётся возразить самому себе. Нырять в омут минувшего, я принужден

буду признать, что в самом деле принадлежал к тому сомнительному «мы», которое за неимением нужного термина должен назвать поколением, — в данном случае к поколению московской интеллигентной молодёжи послевоенных лет. (Судьба пощадила меня: я достиг призывного возраста к моменту окончания великой войны.)

Поистине это было одинокое, неприкаянное поколение, и не только потому, что всякое проявление солидарности, любая попытка сплотиться, тень единомыслия, группа или дружеский кружок, немедленно привлекали внимание вездесущей тайной полиции, этого государства в государстве, прослаивались доносчиками и заканчивались арестами, — не только, говорю я, поэтому. Но и потому, что мы были поколением, которого не было, потому, что угодили в расщелину истории. Всем нам было суждено жить и изживать нашу юность в гнуснейшую пору советского времени. Вы, дорогая, разумеется, помните эти годы.

Сказать о нас, что, дети военных лет, так и не сумевшие дозреть до того, чтобы стать поколением в полном и подлинном смысле, мы не знали жизни, сказать так было бы и правдой, и неправдой. С реальностью повседневного существования в Советском Союзе, чудовищным бытом, нищетой, голодом, вечной нехваткой всего и т.д. и т.п., со всем этим мы сталкивались весьма чувствительно и достаточно

рано. Перед этими сиротливыми кулисами, наперекор всему, разыгрывалась трагикомедия нашей судьбы, ютилась наша молодость, поколение одинок, типичными чертами которого были какая-то странная, всё ещё не преодолённая невзрослость, застенчивость и стыдливость, поразительное невежество в вопросах пола, подростковый страх перед женской телесностью и полнейшее непонимание женской сексуальности у юношей, раз и навсегда заученная поза самообороны перед мужской инициативой у девушек вкупе с их неизбежным следствием — обоюдной скованностью... Короче, богатейший материал для фрейдистских умозаключений — в стране, где психоанализ был не просто запрещён, но чуть ли не приравнён к политической крамоле.

Пожалуй, я слишком растёкся по дереву. Пора заканчивать, но позвольте мне пересказать одно маленькое воспоминание, которое я нахожу на дне омота, как ловец жемчужин — раковину на дне Индийского океана.

Был такой — и, говорят, стоит до сих пор на Пречистенке, некогда переименованной в улицу Кропоткина, Дом учёных; здесь устраивались в те годы вечера для студенческой молодёжи. Не помню, по какому случаю мы оба, Ира и я, оказались на одном из этих вечеров. Я не ожидал её увидеть. Надо вам сказать, что я обожал танцы. И вот — какое грандиозное воспоминание! Грянул духовой ор-

кестр, праздничная толпа всколыхнулась, и, набравшись духу, я приблизился к Ирине. Кажется, она была удивлена. Она была прекрасна. Что было на ней? Пытаюсь найти нужное сравнение. В те годы в Москве появилось, в числе других американских продуктов, которыми кормился весь город, — счастливицы получали их по карточкам или спецталонам, — волшебное лакомство, сгущённое молоко с сахаром; если подержать закрытую банку в кипятке, молоко меняло свой цвет. Таким — золотисто-коричневым — было платье Иры, облежавшее уже довольно полную грудь и бёдра, и оно удивительно шло к ней, к её рыжеватым и светящимся, слегка вьющимся волосам, собранным в небольшой узелок на затылке. Музыка звала и будоражила нас, пары теснились вокруг, я неловко обнимал её, как полагалось, за талию, её ладонь лежала на моём плече, я видел в нескольких сантиметрах от себя её вздымающуюся грудь, губы Иры были приоткрыты, свежее дыхание овевало меня. Казалось, и она была взволнована, и вся жизнь была впереди, жизнь была окутана пеленой недостижимого будущего. То были первые послевоенные годы, упорхнувшее время надежд и ожиданий. Близилось новое время, и никто, казалось, не подозревал о том, каким хищным будущим было беременно это время. Юность не страшится будущего, этой тигриной пасти, которая пожрёт и тебя, и вместе с тобой — твоё короткое

прошлое, всё то, что впоследствии сохранит усталая память; мы не знали, что из чащи лет за нами следят жёлтые очи плотоядного будущего, что Иру ждёт бедственное замужество, потеря ребёнка, мучительная болезнь, меня — арест, тюрьма и лагерь.

Дорогая! Рассказ мой затянулся, в ы чувствуете, что письмо требует завершения. Harry end — если бы можно было его так назвать...

Одним из немногих счастливых событий — быть может, самым счастливым в истории нашей страны, — была смерть вождя-каннибала, неожиданно ухнувшего в преисподнюю, чтобы разделить там побратски с Шикльгруббером котёл с кипящей смолой. Радостное известие дошло до обитателей Унжлага, года через полтора, начались перемены; выпущенный на волю с волчьим билетом и запрещением возвращаться в Москву, я неверил своим ушам, услышав о том что в мартовские дни 1953 года чуть ли не весь народ рыдал от горя. И всё-таки, вопреки запрету, буквально на другой день после условного освобождения яне утерпел и позвонил в Москве из будки телефона-автомата Ирине Вормзер. Против ожидания, мало ли что могло случиться за эти годы, услышал в трубке голос, Да, это был её голос. Долго добирался до неё. Теперь она проживала в районе новостроек, одна, на последнем этаже безликого блочного дома. С колотящимся сердцем я поднялся по лестнице и позвонил в дверь. Она отворила.

Узнали ли мы друг друга? Узнал ли я Иру? Конечно, годы, как принято говорить в романах, наложили на неё свой отпечаток. Обо мне и говорить не стоит. Зато она... Что ж, по крайней мере для меня она должна была оставаться красавицей.

Должна. Странное замечание, скажете вы.

Всю мою, показавшуюся необычайно длинной дорогу на окраину донельзя разросшейся столицы, мимо незнакомых станций новой линии метро, в переполненном автобусе, наконец, в поисках дома, поднимаясь по ступеням неуютных этажей, — всю дорогу я не переставал думать об одном, вспоминал, как я любил Иру и не отважился сказать об этом вслух, тщетно жаждал ответного внимания и мучался неутолённой страстью.

Мы сидели за скромным угощением, чокнулись бокалами с красным вином, но сердце моё уже не стучало. Жестокая догадка поразила меня. Похоже, я уже не любил её. Нет, зачем же: любил, конечно. Но не так.

Я встал. В маленькой прихожей снял с вешалки своё пальто. Она тоже поднялась, приблизилась и поцеловала меня.

И вот теперь, после её смерти, я спрашиваю себя: зачем я тогда не обнял её, зачем не спросил, не предложил ей выйти за меня замуж?

2013, 2018

**Борис
Хазанов**

ШАГИ СЛЕПОГО В ТЕМНОТЕ

Директор издательства *Т. Ретивов*
Дизайн обложки *С. Пионтковский*
Оригинал-макет *Б. Марковский*

ИД№ 5016 от 24. 11. 2015 г.
Издательство «ФОП Ретівов Тетяна»
01001, г. Киев,
ул. Малая Житомирская 8, оф. 3
Тел. (+38) 096–53–85–115
www.kayalapublishing.com
Отдел продаж
Kayala@ukr.net

Формат 70x100 ^{1/32}
Усл. печ. л. 3, 2 Подписано в печать 26. 04. 2017
Печать офсетная